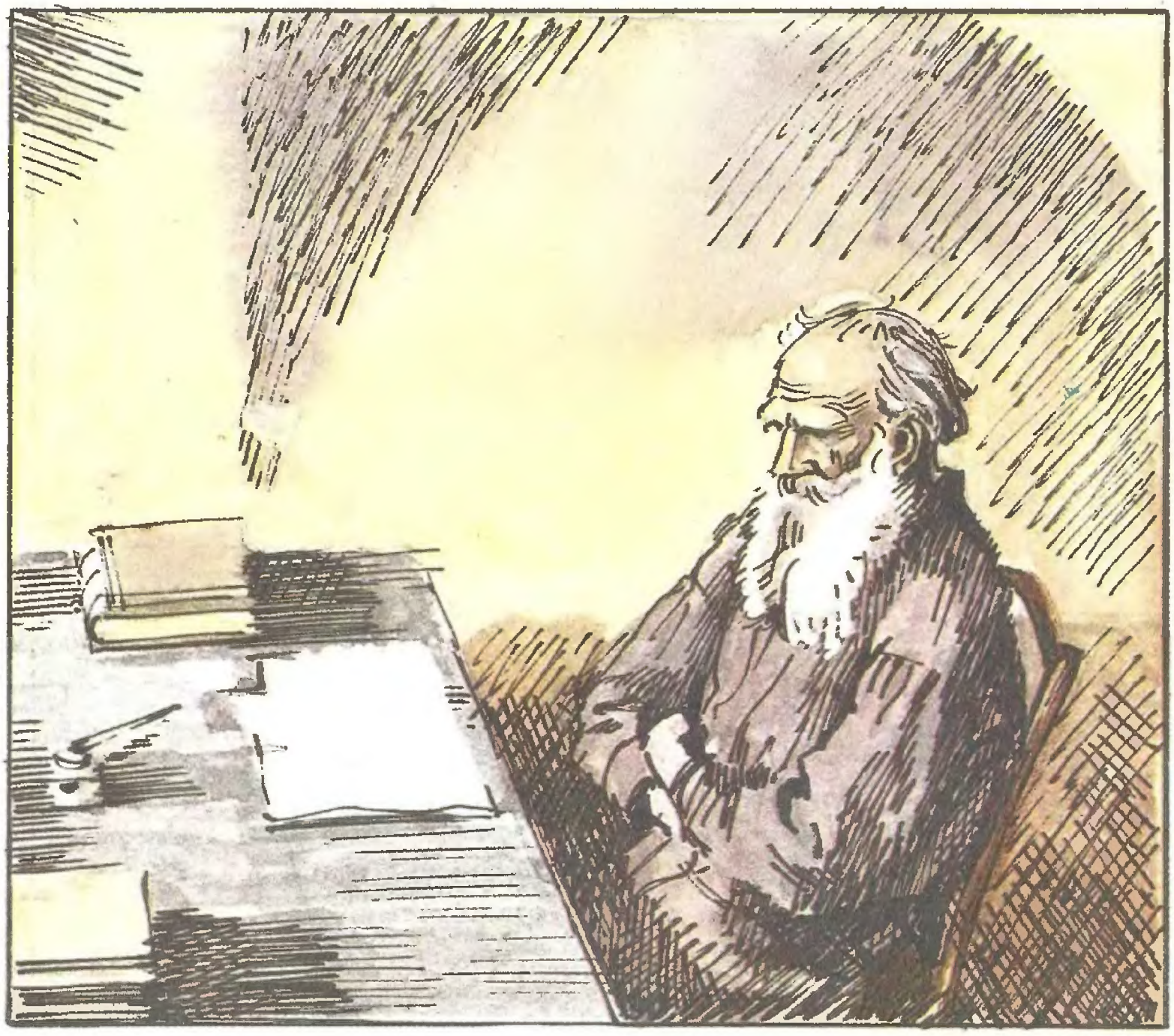
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Scan Kreyder - 23.05.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Лев Толстой

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Повести и рассказы

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р1
Т53

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Толстой,
Собрание сочинений в двенадцати томах,
«Художественная литература», М., 1972—1976

Составление, предисловие и комментарии
К. Н. ЛОМУНОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
А. ИТКИНА

Т 70803—321 Подп. изд.
М101(03)78

© Состав. Предисловие. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1978 г.

ТОЛСТОЙ—ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе.

В. И. Ленин

Не многим из русских писателей-классиков судьба подарила такую долгую жизнь, какую прожил Лев Николаевич Толстой. Он родился через три года после восстания декабристов, за тридцать с лишком лет до отмены крепостного права, а умер всего за семь лет до Великого Октября, положившего начало новой истории человечества.

В детские годы Толстой был современником Пушкина, приходившегося ему дальним родственником. В самом начале нашего века Толстой познакомился с молодым Горьким. Своей жизнью и творчеством Толстой соединил два века русской литературы — девятнадцатый и двадцатый.

За свою жизнь Толстой стал свидетелем и участником многих больших и важных событий. В его произведениях запечатлена русская жизнь за весь минувший век, начиная с эпохи, предшествовавшей Отечественной войне 1812 года, и кончая событиями, последовавшими за революцией 1905—1907 годов. О таких писателях, как Толстой, недостаточно сказать, что их творчество было связано с современностью: оно вырастало на почве современности, стало и зеркалом ее и рупором, правдивой летописью и могучим голосом.

«Великий писатель Русской земли», как называл Толстого Тургенев, внес громадный вклад в развитие не только отечест-

венной, но и мировой литературы. Владимир Ильич Ленин оценивал его творчество, как «шаг вперед в художественном развитии всего человечества» [1].

Ни одному из писателей минувшего века не удалось так широко и мощно войти в жизнь своих современников, как Толстому. И ни один из самых выдающихся писателей того времени — русских и зарубежных — не приобрел такой славы и такого влияния в мире, как Толстой.

Прошло полтора века со дня рождения Толстого и около семидесяти лет со дня его кончины, а известность и слава его не только не меркнут с годами, но, напротив, разгораются и светят все сильнее и ярче.

Вскоре после похорон Толстого один семилетний мальчик обратился к Горькому с просьбой: «...Все писатели русские умерли, только ты остался. Напиши мне сказку и пришли мне». Растроганный Горький ответил ему так: «Да, Толстой — человек — умер, но великий писатель — жив, он — навсегда с нами».

Главу о Толстом в «Истории русской литературы», написанную еще при жизни автора «Войны и мира», Горький закончил словами: «Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».

Читатели нашей книги встретятся с Толстым ранним и Толстым поздним: с первым законченным его произведением — повестью «Детство», опубликованной в 1852 году, и созданными в середине 900-х годов рассказом «После бала» и повестью «Хаджи-Мурат».

Более полувека отделяют «Хаджи-Мурата» от повести «Детство». Они воспринимаются нами, как вехи, указывающие начальный и последний этапы творческого пути Толстого. Но и каждое из вошедших в эту книгу произведений знаменует собою своеобразную и яркую грань созданного писателем художественного мира.

«Почти в каждом новом произведении,— писал о молодом Толстом Н. Г. Чернышевский,— он брал содержание своего рассказа из новой сферы жизни... Как расширяется постепенно круг жизни, обнимаемой произведениями графа Толстого, точно так же постепенно развивается и самое воззрение его на жизнь».

Эти две стороны идейного и творческого развития молодого писателя, проницательно отмеченные Чернышевским, характерны и для всего последующего пути Толстого в литературе.

К этому нужно добавить, что, в отличие от многих других писателей, Толстой не просто «вошел» в литературу, как это

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 19.

принято говорить, а «ворвался» в нее, первыми своими произведениями покорив и читателей и критику.

«Детство» так понравилось редактору «Современника» Н. А. Некрасову, что он решил напечатать повесть в одном из ближайших номеров журнала.

А когда вслед за «Детством» в том же «Современнике» появилась повесть «Отрочество», Тургенев писал об ее авторе: «Вот наконец преемник Гоголя — нисколько на него не похожий, как оно и следовало. Жаль, что цензура многое выкинула».

Тургенев не сомневался в том, что автор «Детства» и «Отрочества», кавказских и севастопольских рассказов скоро займет главенствующее место в русской литературе. «Лев Николаевич,— писал Тургенев родственникам Толстого в конце 1854 года,— стал во мнении всех в ряду наших лучших писателей — и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы занять первое место, которое принадлежит ему по праву — и ждет его».

Когда вслед за великим историческим романом-эпопеей «Война и мир» появился великий роман о современности «Анна Каренина» и они были переведены на иностранные языки, к Толстому пришла не только европейская, но и мировая известность.

Рекомендуя «Войну и мир» французским читателям, Тургенев писал: «Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и другие), чьи черты установлены навеки; это — непреходящее». «Война и мир», говорит в том же письме Тургенев, «это — великое произведение великого писателя,— и это — подлинная Россия».

На появление романа «Анна Каренина» горячо отозвался Достоевский. Он посвятил этому произведению Толстого много страниц в «Дневнике писателя». «Анна Каренина»,— говорит Достоевский,— есть совершенство как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться».

Восхищение Достоевского «Анной Карениной» было так велико, что он называл автора романа «богом искусства».

Шли годы. Острая ломка всех старых порядков, происходившая в России после падения крепостного права, обострила внимание Толстого к тяжкой доле людей труда и прежде всего к разорению любимого им земледельческого народа. Эта ломка вызвала перелом в его мировоззрении, который сам он назвал в «Исповеди» переворотом. От гуманного сочувствия народным нуждам и бедам писатель перешел к прямой защите интересов народа. Если прежде он критиковал и обличал отдельные стороны жизни дворянско-буржуазного общества, то теперь, как пи-

шет В. И. Ленин, «Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку» [1].

Вдумываясь в эту ленинскую характеристику позднего творчества Толстого, мы сразу же вспоминаем о его романе «Воскресение», где с необыкновенной полнотой и рельефностью изображена жизнь пореформенной, предреволюционной России в ее острейших социальных противоречиях.

Восторгаясь новым романом Толстого, его друг художественный критик В. В. Стасов писал: «Какое чудо творчества, ума, души, страсти, гения!!! Право, я все еще не могу прийти в себя от восхищения и радости... Что за счастье, что есть такие люди на свете, и что мне привелось быть его современником, видеть и слышать его лично!»

В истории русской и мировой литературы романы Толстого — «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» — высятся как гигантские маяки, обладающие могучей светоносной силой. В них сконцентрирована главная мощь толстовского художественного творчества. Они освещают и во многом определяют пути развития русской и мировой романистики.

Но художественный мир Толстого — это не только его великие романы. В этот мир входят также такие шедевры повествовательной прозы, как «Детство» и «Отрочество», «Казаки», «Поликушка», «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи-Мурат». В него входят рассказы писателя о Кавказской и Крымской войнах, новеллы «Метель» и «Три смерти», написанные в конце жизни рассказы «После бала» и «За что?».

Говоря о так называемой «малой прозе» Толстого, нельзя не вспомнить его поистине бессмертный рассказ «про Жилина и Костылина» — любимый детьми «Кавказский пленник». Нужно вспомнить и его «учительную прозу» 80-х годов, знаменитый цикл «народных рассказов» — таких, как «Много ли человеку земли нужно», «Девчонки умнее стариков» и другие.

Выше шел разговор о Толстом-прозаике. Но великий эпический писатель был еще и гениальным драматургом. Он дал русскому и мировому театру народную трагедию «Власть тьмы», обличительную комедию «Плоды просвещения», которую Горький ставил в один ряд с гоголевским «Ревизором» и «Горе от ума» Грибоедова. Перу Толстого принадлежит глубочайшая психологическая драма «Живой труп». Все три толстовские пьесы и в наши дни живут яркой сценической жизнью.

В эту книгу не вошли произведения Толстого-романиста и

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 70.

Толстого-драматурга. Но включенные в нее повести и рассказы настолько характерны и своеобразны, что позволяют говорить об особенностях, присущих всему творчеству Толстого.

Понять цели, смысл и своеобразие произведений, созданных Толстым, помогает он сам. Еще не став писателем, Толстой задумался над вопросом о целях искусства и литературы. Его первая статья, посвященная этому вопросу, называлась «Для чего пишут люди?».

И в ней, и в знаменитом трактате «Что такое искусство?», увидевшем свет в один год с романом «Воскресение», Толстой отверг теорию «чистого» искусства, творцы которого, уходя далеко от треволнений действительности, пишут свои произведения только для «избранных» ценителей.

Всю жизнь он боролся против грубого натурализма в искусстве, сторонники которого свою главную задачу видели в копировании отдельных моментов быстротекущей жизни. «Идет мужик — опишут мужика,— высмеивал Толстой писателей-натуралистов,— лежит свинья — ее опишут и т. д. Но разве это искусство? А где же *одухотворяющая мысль*, делающая бессмертными истинно великие произведения человеческого ума и сердца. ...И как легко дается это описание «с натуры»! Набил себе руку — и валяй!»

Художник не может создать настоящее произведение искусства, утверждал Толстой, если всем его существом не завладеет высокая идея, если он не проникнется искренним, глубоко заинтересованным отношением к тому, о чем он хочет рассказать своим читателям. Если этого нет, то ему не поможет и самое изощренное мастерство. «Это страшная ошибка — думать, что прекрасное может быть бессмысленным»,— говорил писатель.

Настоящий художник, по убеждению Толстого, в каждом новом произведении «открывает новую сторону жизни», и потому его работа над ним сопряжена с трудными и долгими размышлениями о смысле и значении изображаемых событий.

«Художник,— говорит Толстой в дневнике,— для того чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтоб его произведение было исканием. Если он все нашел и все знает и учит, или нарочно потешает, он не действует.

Только если он ищет, зритель, слушатель, читатель сливается с ним в поисках».

Выполнить это требование может только художник, серьезно относящийся к своему призванию.

«Для того, чтобы художник мог видеть новое,— учит Толстой,— ему нужно смотреть и думать, не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно вглядываться и вдумываться в явления жизни. Для того же, чтобы, во-первых, то

новое, что он видит, было важно для людей, он должен жить не эгоистической жизнью, а принимать участие в общей жизни человечества».

Настоящий художник все силы, весь свой талант направит на то, чтобы наилучшим образом выразить, передать в своем произведении то новое, что открылось ему в жизни. «Я думаю,— говорил Толстой,— что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то так же и их форма».

Однажды молодой Толстой и Тургенев стали припоминать «все лучшее в русской литературе» и были поражены тем, что в составленный ими перечень лучших произведений русских писателей вошли только те, у которых «форма совершенно оригинальная». Это были произведения Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя, «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Былое и думы» Герцена. В этот перечень вошли также «Записки охотника» Тургенева и «Детство» Толстого.

История литературы знает немало таких примеров, когда первое удачное произведение начинающего автора остается его единственной удачей. Весь ход работы двадцатидвухлетнего Толстого над «Детством» свидетельствует о том, что уже с самого начала он был писателем ищущим, стремившимся открыть новые стороны жизни и по-новому их показать.

Повесть «Детство», по замыслу автора, должна была стать первой частью большого романа «Четыре эпохи развития». За «Детством» должны были последовать «Отрочество», «Юность» и «Молодость».

По мысли Толстого, каждая из эпох человеческой жизни имеет свои определенные, только ей присущие черты. Так, в детстве преобладают теплота и верность чувства; в отроческие годы в характере человека главенствуют самоуверенность, неопытность и гордость; в юности заметную роль играет «красота чувств» и вместе с тем развиваются тщеславие и неуверенность в своих силах и способностях; в молодости юноша начинает серьезно размышлять о своем назначении в жизни.

В трилогии впервые в творчестве писателя появляется его типичный герой — искатель истины, правдолюбец, высоконравственный и необыкновенно совестливый молодой человек. Он наделен даром наблюдательности и особым складом ума. Николенька Иртеньев обладает не только «умом ума», но и «умом сердца». Он человек думающий, рассуждающий, анализирующий и оценивающий себя, людей и события. Присущий ему дар сердечности заставляет его стремиться быть лучше, чище, справед-

ливее, уметь видеть слабые и дурные стороны своей натуры и безжалостно судить себя за каждый проступок.

«Детство» — не автобиография писателя, но в его главном герое — Николеньке — запечатлены многие черты, которые были свойственны Толстому в его детские годы, а в образах других действующих лиц — черты родных, друзей, воспитателей.

Повесть «Детство» дает читателю на редкость полное и законченное представление о целой эпохе человеческой жизни. И редкий из читателей замечает, что в ней подробно описаны всего два дня жизни героя: первый проходит в деревенской усадебной тиши, а второй — «почти месяц спустя» — в шумной Москве.

Если вести счет времени по календарю, то в границах первой части трилогии проходит всего семь месяцев жизни Николеньки. Но в повести Толстого движется не календарное, а художественное время, вместившее в себя образ всей начальной поры жизни героя.

Дожив до глубокой старости, Толстой не переставал любить свое первое произведение. «Когда я писал «Детство»,— говорил он в 1908 году,— то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства».

В первозданной душевной чистоте, в непосредственности и свежести чувств, в доверчивости детского сердца, искренней любви к близким видит Толстой счастье детства. Светлой поэзией овеян в повести образ матери Николеньки.

Поэтизируя детские годы своего героя, Толстой, однако, не скрыл их теневых сторон.

Сталкиваясь с неприглядными сторонами своей среды, Николенька начинает понимать, что жизнь не так безоблачна и радостна, какой она ему казалась в те дни, когда его от всех невзгод оберегала любовь матери. Тяжело переживая ее безвременную кончину, Николенька вступает в следующий период своей жизни — отрочество.

Расставшись с детством, Николенька покидает свой семейный мирок с его узкими рамками, и перед ним открываются двери в большой и многообразный мир. Постепенно он учится разбираться в людях, верно оценивать их слова и поступки. Он глубоко огорчается, сталкиваясь с проявлениями жестокости, грубости, неискренности.

Почувствовав себя одиноким в семье, Николенька переоценивает привычные понятия и доходит до такого скептицизма, что начинает сомневаться в реальности окружающего мира.

Николенька считал период отрочества самым трудным периодом своей жизни. Он называл его «пустыней отрочества» и признавался, что хотел бы как можно быстрее пробежать эту пусты-

ню и достичь юности, которая представлялась ему «исполненной прелести и поэзии».

После полутора лет работы писатель закончил первую половину повести «Юность». Заметим, что ее бóльшую часть Толстой написал на Четвертом бастионе Севастополя, где, как офицер-артиллерист, он командовал одной из батарей в пору Крымской войны.

В повести «Юность» еще сильнее, чем в первых двух частях трилогии, звучит призыв к защите высоких моральных принципов, которым должен следовать человек.

Знаменательно, что уже в первом законченном произведении Толстого, повести о детстве, четко обозначилась центральная тема всего творчества писателя — тема разъединения, разобщения людей в обществе, делящемся на социальные группы: классы и сословия. Защита лучшего в человеке, стремление с детских лет и навсегда оградить это лучшее от дурных влияний — вот что составляет пафос трилогии Толстого.

По совету своего старшего брата, Николая Николаевича, служившего в Действующей армии офицером-артиллеристом, весной 1851 года Толстой едет на Кавказ. Ему очень хотелось «испытать опасность, испытать себя в опасности», своими глазами увидеть войну.

В рассказах «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» Толстой правдиво и ярко запечатлел эпизоды Кавказской войны, свидетелем которых ему довелось быть.

Цикл военных произведений Толстого продолжили знаменитые севастопольские рассказы, посвященные событиям Крымской войны.

На бастионах Севастополя Толстой еще ближе, чем на Кавказе, познакомился с простыми русскими людьми — солдатами, матросами, жителями осажденного города. «Дух в войсках,— сообщал он брату,—выше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства».

Свой восторг перед мужеством и героизмом защитников города-крепости Толстой выразил в рассказе «Севастополь в декабре месяце». С этим произведением в его творчество властно вошла народно-героическая, военно-патриотическая тема, получившая развитие во втором и третьем рассказах о Севастопольской обороне, и в особенности на страницах романа «Война и мир».

Севастопольские рассказы Толстого поразили читателей не эффектными описаниями сражений, а удивительной простотой и суровой правдой, с какой показан очень тяжелый и опасный будничный труд защитников города. Видя, как спокойно и уверенно они ведут себя под вражескими бомбардировками, «вы,—

обращается Толстой к своим читателям,— ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

Во втором рассказе севастопольского цикла — «Севастополь в мае» Толстой обличает таких лжепатриотов, как князь Гальцын, офицер Калугин, и подобных им. Этим господам нужны были высокие чины и награды. Похваляясь своей храбростью, они были трусами и лгунами — боялись показаться на бастионах.

Рассказ «Севастополь в мае» проникнут такой болью и горечью, вызванными неудачами русской армии, и таким гневом против виновников этих неудач, что цензура подвергла его самой придирчивой «обработке», исключив многие места, содержащие резкие обличения аристократического офицерства.

«Я, кажется, сильно на примете у *синих*[1]. За свои статьи,— записал тогда Толстой в дневнике.— Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели».

«Севастополь в августе 1855 года» — последний рассказ севастопольского цикла. В нем описаны последние бои за город, переданы горестные чувства и мысли его защитников, вызванные приказом об отступлении. «Строгая, ни перед чем не отступающая правда», по словам Н. А. Некрасова, отличает и это произведение молодого писателя.

Знаменательно, что в севастопольских рассказах Толстого, обессмертивших патриотизм и героизм защитников родной земли, с большой силой прозвучал протест против войны, как средства разрешения международных споров и конфликтов.

«...Вопрос, не решенный дипломатами,— пишет Толстой,— еще меньше решается порохом и кровью... Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Исполнена глубокого значения сцена перемирия в рассказе «Севастополь в мае».

«Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу»,— пишет Толстой. Казалось бы, так легко и просто разрядить ружья и пушки и мирным путем решить споры. «Нет! — завершая сцену перемирия, восклицает писатель.—

---

[1] В николаевскую эпоху «синими» называли жандармов — по цвету их мундиров.

Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная кровь и слышатся стоны и проклятия».

В конце рассказа «Севастополь в мае» Толстой сделал важное признание: «Вот я и сказал, что хотел сказать, но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого». Может, высказанные в рассказе «злые истины» принадлежат к таким, которые «не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными»?

Но Толстой преодолел эти сомнения и колебания, решив посвятить свое творчество тому герою, которого он охарактеризовал следующими словами: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».

Понятие правды в творчестве Толстого многостороннее и емкое. Горький называл Толстого величайшим «разрушителем лжи». Защищая писателя от нападок реакционной критики, Горький писал: «Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность».

Толстой был правдив как великий обличитель и критик социальных уродств буржуазно-дворянского строя. Он был правдив и как проникновеннейший сердцевед, как художник-психолог.

Уже в севастопольских рассказах Толстого раскрылась та особенность его творческого метода, которую Чернышевский охарактеризовал как способность изображать «диалектику души» человека. В отличие от писателей, изображающих только крайние точки «психологического процесса», его начало и конец, Толстой показывал все его течение, со всеми переходами одного чувства в другое, с быстрой сменой настроений и переживаний.

Так изображены в рассказе «Севастополь в мае» «внутренние монологи» офицера Праскухина, быстрой чередой проходящие в его сознании перед смертью.

Так написаны «внутренние монологи» главных героев «Войны и мира» и других романов Толстого.

От кавказских рассказов и севастопольских рассказов линии творческих связей ведут к «Войне и миру», к повестям «Казаки» и «Хаджи-Мурат».

Величавая природа Кавказа и живущие в согласии с нею смелые, сильные, свободолюбивые русские люди опоэтизированы Толстым в повести «Казаки». Гордая гребенская красавица Марьяна, безоглядно храбрый молодой казак Лукашка, старый охотник, гуляка и забавник Ерошка и другие жители казачьей станицы живут, не зная крепостного гнета.

Как не похожи они на забитого, всеми помыкаемого и обижаемого крепостного Поликея, его жену Акулину, замученную беспросветной нищетой и отупляющей заботой о куске хлеба для голодных детей.

Беспощадный реализм толстовской повести о крепостной деревне потряс современников. «Прочел я «Поликушку» Толстого,— писал друзьям Тургенев,— и удивился силе этого крупного таланта... Есть страницы поистине удивительные. Даже до холода в спинной кости пробирает... Мастер, мастер».

Жизнь, быт, судьба крепостного крестьянина изображены в «Поликушке» еще более мрачными красками, чем в рассказе «Утро помещика», написанном Толстым шестью годами раньше. В статье об этом произведении Чернышевский отметил, что его автор с «замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. В крестьянской избе он так же дома, как и в походной палатке кавказского солдата».

Характеризуя более чем полувековую литературную деятельность Толстого, В. И. Ленин говорит, что великий писатель «рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина» [1].

В «Детстве» и «Отрочестве», в «Утре помещика» и в «Поликушке», в рассказах «Метель» и «Три смерти» Толстой знакомит нас с деревенской крепостной Россией. В деревенских сценах романов «Анна Каренина» и «Воскресение» изображены тяжкие мучения пореформенной деревни, шедшей навстречу первой народной революции в России.

После отмены крепостного права в 1861 году многомиллионное русское крестьянство попало в новую кабалу. К помещичьему и чиновничьему гнету добавился гнет разбогатевшего кулака и купца, банкира и промышленника. В статьях о Толстом и других своих работах В. И. Ленин дал яркую характеристику положения пореформенной русской деревни. Он писал: «Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность» [2].

Видя все это, Толстой испытывал чувство боли и глубокой обиды за крестьян, жизнь которых он знал так же хорошо, как свою собственную.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 19.
[2] Там же, с. 39.

И не случайно Владимир Ильич Ленин, прочитав воспоминания Горького о его встречах с Толстым, сказал:

«— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было»[1].

В «Утре помещика» и «Поликушке», в пьесах «Власть тьмы» и «Плоды просвещения», в романах «Анна Каренина», «Воскресение» и в других произведениях Толстой показал подлинного мужика, его жизнь и быт, его беды и надежды. Писатель передал, как отметил еще Чернышевский, его (крестьянина) «взгляд на вещи».

Он сделал это так верно и так всесторонне, что его творчество явилось, по ленинскому определению, «зеркалом русской революции», несмотря на то, что писатель революцию «явно не понял» и от участия в ней «явно отстранился»[2].

В центре гениальной ленинской работы «Лев Толстой, как зеркало русской революции» и всех других статей и высказываний Владимира Ильича о мировоззрении и творчестве великого писателя стоит тема «Толстой и русская революция».

Те десятилетия русской жизни, которые Ленин называет «эпохой Толстого», были «эпохой подготовки революции». 1861-й и 1905-й годы — таковы исторические границы «эпохи Толстого», хотя его литературная деятельность началась раньше и закончилась позднее этого периода.

Зеркалом этой бурной эпохи и явилось творчество Толстого.

Еще в середине 60-х годов писатель выразил уверенность в том, что в Россию придет революция, которая будет сильно отличаться от революций, происходивших в Западной Европе. В крестьянской стране, какой была Россия, революция, как утверждал Толстой, может быть только крестьянской. И она должна решить только один вопрос — земельный. «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности,— писал Толстой в 1865 году.—...Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана».

В художественных произведениях, статьях и трактатах «поздний» Толстой резко осуждал частную земельную собственность и называл ее «великим грехом».

Главной задачей русской революции писатель считал освобождение земли от власти помещиков и передачу ее тем, кто на ней трудится.

«— Земля наша малая, не то что скотину,— курицу, ска-

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17, М., 1952, с. 39.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, с. 206.

жем, и ту выпустить некуда»,— жалуется 3-й мужик из пьесы Толстого «Плоды просвещения» и умоляет барина: «Отец! помилосердствуй. Прими денежки, отец... Как жить таперича?»

Барин Звездинцев, обещавший крестьянам продать землю, вдруг заартачился. Этот «добрый барин» увлекается спиритизмом. Просьбу мужиков о продаже им земли он передает на рассмотрение «духов», по его убеждению, живущих в загробном мире. «Духи» решили вопрос не в пользу крестьян. И только смелой и ловкой горничной Тане, ударившей в темноте барина гитарой по голове, удалось «внушить» ему другое решение.

Сначала в комедии «Плоды просвещения», а затем в романе «Воскресение» Толстой показал прямое столкновение крестьянских и помещичьих интересов. «Нам без этой земли надо жизни решиться»,— говорит 2-й мужик в «Плодах просвещения». На отказ барина продать землю он отвечает угрюмо, но решительно: «Что ж так делать! Обида это».

Словно бы повторяя его слова, героиня романа «Воскресение» Катюша Маслова говорит князю Нехлюдову: «Очень уж обижен простой народ». Нехлюдов своими глазами видел и в деревне и в городе страшную бедность людей труда и бесчеловечное отношение к ним со стороны власть имущих. Видя это, он приходит к выводу, что «людоедский» строй насилия, лжи, преступлений против человечности должен быть разрушен. Но как и кто это сделает?

Этот вопрос был поставлен Толстым, что называется, во весь рост и в романе «Воскресение», и в публицистических трактатах «Так что же нам делать?», «Рабство нашего времени», и в других произведениях.

В ответе на этот главный вопрос эпохи со всей силой сказались противоречия взглядов и творчества Толстого.

В первой ленинской статье о Толстом дан поразительный по глубине и силе мысли анализ толстовской противоречивости. «Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие»,— пишет Ленин. Вслед за этими словами следует четкая сопоставительная характеристика сильных и слабых сторон мировоззрения и творчества писателя. Она завершается ярким художественным образом патриархально-крестьянской России из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Поистине,— говорит Ленин,—

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная
— Матушка-Русь!» [1]

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, с. 210.

Толстой — величайший художник, создавший бессмертные произведения, известен всему миру. И он же — «помещик, юродствующий во Христе».

Толстой — бесстрашный протестант и борец против общественной лжи и фальши. И он же — слабовольный «толстовец», проповедовавший учение о личном самоусовершенствовании и непротивлении злу насилием.

Толстой утверждал своим творчеством самый трезвый реализм, главным оружием которого было «срывание всех и всяческих масок». И он же — создатель новой, очищенной от церковных догм религии.

Откуда, на какой почве, из каких источников рождались подобные противоречия, чьи настроения, мысли и чувства они выражали?

Противоречия Толстого, говорит Ленин, «не случайность», «не противоречия его только личной мысли». В них Ленин видел «выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века».

Толстовское учение не есть «каприз или оригинальничанье». В нем Ленин учит видеть «идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» [1].

Ленин характеризует «эпоху Толстого» как эпоху, «которая могла и должна была породить учение Толстого» [2]. Устами писателя «говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» [3].

Стремясь к новой жизни, мечтая о том, чтобы создать новые формы общежития, крестьянство «относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе... почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения» [4].

Чего хотели миллионы трудящихся крестьян, испытывавшие всяческий гнет? «Крестьяне хотели,— говорит Ленин,— чтобы жизнь была *по-справедливости, по-божески*, не зная *как* это сделать». Их наивность, их ненависть к старым порядкам, их страх перед новым беспощадным врагом — капитализмом с громадной силой Толстой и передает в своих произведениях. «Тол-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 103.
[2] Там же, с. 103.
[3] Там же, с. 70.
[4] Там же, т. 17, с. 211.

стой,— замечает Ленин,— отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег» [1].

Под «толстовщиной» Ленин, как мы видим, понимал идеологию, владевшую в определенную эпоху умами миллионов крестьян. Только революционный 1905 год помог крестьянству осознать «исторический грех толстовщины» и принес ей «исторический конец».

Дав глубокую и четкую характеристику сильных и слабых сторон взглядов и творчества Толстого, Ленин поставил вопрос о том, что же надо считать главным в наследии великого писателя?

Идейное содержание произведений Толстого, отвечает Ленин, гораздо больше соответствует не отвлеченному «христианскому анархизму», как нередко оценивают «систему» его взглядов, а революционным устремлениям крестьянских масс.

Ленин учит нас видеть в произведениях писателя *«конкретные* вопросы демократии и социализма, которые Толстым *поставлены»* [2]. Они были и остаются действительно «великими вопросами». Ленин учит нас видеть и высоко ценить в наследии писателя все то, что составляет его силу и всегда будет сохранять свое значение.

Люди, близко знавшие Толстого, рассказывают, что они никогда не видели его «смиренным», затихшим, успокоившимся, решившим уйти от мира «в келью под елью». Напротив, он до конца жизни сохранил «кипящий» характер, волнуясь, страдая, борясь, стремясь, как он говорил, «поторопить наступление нового века».

Много лет общаясь с Толстым, художник И. Е. Репин так охарактеризовал главную черту его натуры: «Чувство огромного влияния на Россию своими произведениями подняло его активность и вселило веру в возможность перевернуть жизнь к лучшему. Б о р е ц».

Современникам писателя казалось, что само время отступило перед Толстым, сохранив ему до конца дней такую свежесть и остроту восприятия всего живого, каким могли позавидовать молодые художники. Сравнивая описания природы в ранних новеллах писателя «Метель» и «Три смерти» с пейзажными страницами в его повестях «Холстомер» и «Хаджи-Мурат», читатели убеждались в том, что Толстой-пейзажист с годами не

---

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 40.
[2] Т а м ж е, с. 23.

только не утрачивал, но и обогащал арсенал своих художественных средств.

Весной 1856 года Толстой записал в дневнике: «Хочется писать историю лошади». К этому времени относится одно любопытное свидетельство И. С. Тургенева. Рассказывая об одной из прогулок с Толстым по деревне, Тургенев подробно описал, как они увидели на выгоне старую, измученную лошадь и как Толстой стал рассказывать ее «историю». «Я положительно заслушался,— вспоминает Тургенев.— Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью».

Рассказывая о судьбе пегого мерина, которого за широкий шаг прозвали Холстомером, Толстой наделяет его, словно человека, мыслями и чувствами. Этот прием помог писателю изобличить хозяев лошади в стяжательстве, в нарушении самых простых, но и самых важных законов нравственности.

Последний хозяин Холстомера — князь Никита Серпуховской — пустой и грязный прожигатель жизни. Он и жил скверно и умер отвратительно. И не он, а Холстомер — подлинный герой этой повести.

Повесть «Хаджи-Мурат», как и повесть «Холстомер», принадлежит к тем произведениям Толстого, замыслы которых вынашивались много лет и были особенно ему дороги. «Хаджи-Мурат» — это мое личное увлечение»,— говорил Толстой летом 1905 года.

Толстой работал над «Хаджи-Муратом» более восьми лет, всего на два года меньше, чем над романом «Воскресение». И работал с таким же увлечением, как и над «Воскресением». Создав десять редакций повести, Толстой все же находил свою работу не законченной и не отдавал повесть в печать.

«Можно ли написать «Хаджи-Мурата» лучше?» — спрашивал Горький. И отвечал: «Нам кажется — нельзя, а Толстому казалось — можно».

Толстой был участником Кавказской войны, во время которой произошли события, описанные в повести. Однако Хаджи-Мурата ему тогда не удалось видеть, и, начав в середине 90-х годов работу над повестью, он отдал много времени изучению исторических документов о Кавказской войне и воспоминаний ее современников.

«Когда я пишу историческое,— говорил о своей работе Толстой,— я люблю быть до малейших подробностей верным действительности». Любопытная деталь: писатель попросил своего давнего знакомого сенатора А. Ф. Кони, хорошо знавшего придворный быт, прочесть рукопись «Хаджи-Мурата» и отметить

неточности в описании этого быта. Кони нашел лишь одну маленькую неточность: «в описываемое время», сообщил он Толстому, военный министр Чернышев «уже не мог надевать шляпы с петушиными перьями».

Толстой говорил по этому поводу: «Приходится окунуться с головой в эпоху Николая и пересмотреть большой материал — и печатный и рукописный. И все это, быть может, только для того, чтобы извлечь какие-нибудь две-три черты, которых читатель, пожалуй, и не заметит, а между тем они очень важны!»

Писатель стремился встретиться с очевидцами интересовавших его событий и подробно их расспрашивал о том, что они видели лично. С. А. Толстая записала в свой дневник в феврале 1903 года о посещении Ясной Поляны одним старичком, который был солдатом «николаевских времен», сражавшимся на Кавказе. Два дня делился он с Толстым своими воспоминаниями.

Уже первые читатели «Хаджи-Мурата» заметили, что главная мысль повести решительным образом противоречит важнейшему принципу толстовского вероучения — непротивлению злу насилием.

Самую важную и дорогую черту характера героя повести Толстой определил так: «Отстаивает жизнь до последнего». В упорной борьбе, в неравной и жестокой схватке с преследователями бесстрашный Хаджи-Мурат до последнего вздоха сражается за свою жизнь.

Повесть «Хаджи-Мурат», а также замысел написать произведение о русской революции 1905—1907 гг. свидетельствовали о неиссякаемой творческой силе Толстого, о том, что с годами его все больше привлекали люди, отличавшиеся мужеством, стойкостью, социальной активностью.

Именно эти люди становились героями новой эпохи, подготавливавшими приход Великого Октября. Они придут в литературу через произведения уже не Толстого, а других писателей, и прежде всего Горького, о котором — после первой встречи с ним — Толстой записал в дневнике: «...Он мне понравился. Настоящий человек из народа».

Этому-то человеку и принадлежат слова, взятые для заглавия статьи: «Толстой — это целый мир». Трудно короче и точнее определить масштабы наследия Толстого и меру его значения.

Горькому же принадлежит самая краткая и в то же время самая емкая оценка писательского мастерства Толстого. «В искусстве слова первый — Толстой»,— утверждает он в письме Ф. И. Шаляпину. И во многих других горьковских суждениях

о Толстом подчеркивается, что автор «Войны и мира» — художник «непревзойденного мастерства».

Выдающиеся советские писатели — младшие современники Горького — Алексей Толстой и Константин Федин, Александр Фадеев и Михаил Шолохов, Леонид Леонов и Александр Серафимович — также исключительно высоко оценили значение художественных открытий Толстого.

Алексей Толстой назвал творчество Льва Толстого «академией для *каждого* писателя».

«Лев Толстой — мировая школа литературного искусства,— утверждал Константин Федин,— это русская литературная школа, вызвавшая небывало широкое течение художественной мысли на земном шаре. Это школа, в которой наша советская литература черпает познание искусства и вдохновение к своим новым трудам о новом человеке».

Известный французский романист Анатоль Франс писал в статье, посвященной 80-летию автора «Войны и мира»: «Создатель эпических полотен Толстой — наш общий учитель во всем... Толстой служит нам также неподражаемым примером нравственного благородства, мужества и великодушия».

И сегодня творческий подвиг Толстого служит высоким образцом и вдохновляющим примером для прогрессивных писателей всего мира.

К. Ломунов

ДЕТСТВО

Глава I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим,— думал я,— я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь,— прошептал я,— как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не

замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal [1],— крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки.— Nu, nun Faulenzer! [2] — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie [3], Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький

---

[1] Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале *(нем.)*.
[2] Ну, ну, лентяй! *(нем.)*
[3] Ах, оставьте *(нем.)*.

человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig? [1] — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages» [2], в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги,— корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов — под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч бóльшую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то ба-

---

[1] Скоро ли вы будете готовы? *(нем.)*

[2] «История путешествий» *(франц.)*.

рыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber[1] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему,

---

[1] Милый *(нем.)*.

должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику,— а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча,— а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Глава II

MAMAN

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить ма-

тушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только arpeggio [1]. Подле нее вполуоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois» [2],— еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber [3] Карл Иваныч,— и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала maman, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

---

[1] Арпеджио — звуки аккорда, следующие один за другим.
[2] Раз, два, три, раз, два, три *(франц.)*.
[3] Благодарю, милый *(нем.)*.

— Постойте на минутку, Мими,— сказала maman Марье Ивановне с улыбкой,— ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, maman взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, maman,— сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде,— разговор, в котором приняла участие и Мими,— maman положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской,* мы вошли в кабинет.

Глава III

ПАПА

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы,

и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, боже мой милостивый! что́ с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка).— Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— ...для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов,— кладу по сорок пять копеек,— ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с,— сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе,— продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу),— ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с,— сказал Яков.— А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня maman.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить,— продолжал он с расстановкой,— что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена... (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах,— прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом-богом божился, что денег у него нет... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что? говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продастся на три тысячи...

Он кинул на счеты три тысячи и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...»

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

— Я распоряжений своих не переменю,— сказал он,— но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный чело-

век; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою,— сказал он.— Вы будете жить у бабушки, а maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! — подумал я,— дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! — думал я.— Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге на верх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца — Милка.

— Милочка,— говорил я, лаская ее и целуя в морду,— мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

Глава IV

КЛАССЫ

Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen Sie hier?» [1], а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause» [2],— я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?» [3] Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

— Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? — сказал Карл Иваныч, входя в комнату.

— Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «Сиди, Николай!» — и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

— Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? — говорил Карл Иваныч с чувством.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

— Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай,— продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку,— что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь,

---

[1] Откуда вы идете? *(нем.)*
[2] Я иду из кофейни *(нем.)*.
[3] Вы не читали газеты? *(нем.)*

Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь,— прибавил он, иронически улыбаясь,— теперь *дети большие, стали: им надо серьезно учиться.* Точно они здесь не учатся, Николай?

— Как же еще учиться, кажется,— сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.

— Да, теперь я ненужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай,— сказал он, прикладывая руку к груди,— да что она?.. ее воля в этом доме все равно, что вот это,— при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи.— Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал ненужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как *иные люди.* Я привык всегда и перед всеми говорить правду,— сказал он гордо.— Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, бог милостив, найду себе кусок хлеба... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба,— но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т. д., и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist... haben Sie geschrieben?» [1] Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «Die grausamste ist die Un-dank-bar-keit... Ein grosses U» [2]. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

— Punctum [3],— сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением

---

[1] Из всех пороков самый ужасный... написали? *(нем.)*

[2] Самый ужасный — это неблагодарность... с прописной буквы *(нем.)*.

[3] Точка *(лат.)*.

величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька — двенадцатилетняя дочь Мими) идут из саду; но не видать Фоки — дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Иваныча, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

Глава V

ЮРОДИВЫЙ

В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

— Ага! попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку,— потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее.— О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные... улетят,— заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и maman ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала «Parlez donc français» [1], а тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом — только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?» [2] «И какое ей до нас дело! — подумаешь.— Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

[1] Говорите же по-французски *(франц)*.

[2] «Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» *(франц.)*.

— Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту,— сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

— Хорошо, постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!.. улетела... улетит голубь в небо... ох, на могиле камень!..» и т. п.

Maman с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

— Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи,— сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

— Что такое?

— Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— Хотел, чтобы загрызли... Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, *большак* [1], что бить? Бог простит... дни не такие.

— Что это он говорит? — спросил папа, пристально и строго рассматривая его.— Я ничего не понимаю.

— А я понимаю,— отвечала maman,— он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но бог не попустил»,— и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.

— А! вот что! — сказал папа.— Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ,— продолжал он по-французски,— но этот особенно мне не нравится и должен быть...

— Ах, не говори этого, мой друг,— прервала его maman, как будто испугавшись чего-нибудь,— почем ты знаешь?

— Кажется, я имел случай изучить эту породу людей — их столько к тебе ходит,— все на один покрой. Вечно одна и та же история...

Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

— Передай мне, пожалуйста, пирожок,— сказала она.— Что, хороши ли они нынче?

— Нет, меня сердит,— продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы maman не могла

---

[1] Так он безразлично называл всех мужчин. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

достать его,— нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.

И он ударил вилкой по столу.

— Я тебя просила передать мне пирожок,— повторила она, протягивая руку.

— И прекрасно делают,—продолжал папа, отодвигая руку,— что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ,— прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.

— Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом,— трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний,— прибавила она со вздохом и помолчав немного,— je suis payée pour y croire[1]; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

— Ах, что ты со мной сделала! — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) — Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и — что было еще приятнее — maman сказала, что она сама поедет с нами.

Глава VI

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ

Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностию, называя каждую лошадь по имени. Володина ло-

[1] Я верю в них недаром (*франц.*).

шадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах maman: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка maman продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали на верх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» — и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не

нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, maman, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

— Собак не извольте раздавить,— сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз,— отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно,— особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

Глава VII

ОХОТА

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арап-

ником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью,— все это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженной формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хво-

стов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходить!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленнее раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, заливистый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом.*

Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, дру-

гие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или воротились назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки,— только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнали дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак,— но все не трогался с места...

Глава VIII

ИГРЫ

Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и пер-

сики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, вот что? — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве.— Давайте в Робинзона.

— Нет... скучно,— сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья,— вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse» [1], которого мы читали незадолго пред этим.

— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки.— Ты будешь Charles, или Ernest, или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть,— сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что

---

[1] «Швейцарского Робинзона» *(франц.)*.

нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей,— и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..

Глава IX

ЧТО-ТО ВРОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre» [1]. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радо-

---

[1] Это жест горничной (*франц.*).

сти, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

Глава X

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?

Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой статный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении — пришепетывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его запомню,— наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком *à bonnes fortunes* [1], но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людь-

[1] Удачливым (*франц.*).

ми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении,— казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частию по родству моей матери, частию по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички... Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молоду», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила,— но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

Глава XI

ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Maman села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева — скирд, из скирда — облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Maman играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Maman часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» — подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. Впросонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастия,— подумал я,— Карл Иваныч рассержен: он на все готов...»

Я опять задремал.

Однако несчастия никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая плат-

ком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел на верх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

— Знаешь, что́ я сейчас решил? — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо maman.

— Что, мой друг?

— Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable [1].

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.

— Я очень рада,— сказала maman,— за детей, за него: он славный старик.

— Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подарка... но что забавнее всего — это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть,— прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча,— прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детьей два удочка — 70 копек.

Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 к.

Книга и лук, подарка детьям — 8 р. 16 к.

Панталон Николаю — 4 рубли.

Обещаны Петром Алексантровичь из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

Итого следует получить Карлу Мауеру, кроме жалованию — 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец,— и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

[1] И потом, в сущности, он славный малый (*франц.*).

— Да, Петр Александрыч,— сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи),— я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам,— прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

— Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами,— сказал папа, потрепав его по плечу,— я теперь раздумал.

Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

— Что?

— Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх — Гриша спит во второй комнате,— в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

Глава XII

ГРИША

Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

— Господи Иисусе Христе! Мати пресвятая богородица! Отцу и сыну и святому духу...— вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он

был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой — черной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с бóльшим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» — кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, господи, научи мя, что творить... научи мя, что творити, господи!» — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые

вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

— Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.

Глава XIII

НАТАЛЬЯ САВИШНА

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее *в верх* — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками

молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне. и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила maman, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка,— отвечала она,— должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну,

ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их,— тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи,— вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался,— прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны»,— и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика,— сказала maman.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом maman сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня

мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез.— Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты* и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик, вот вам.

Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Глава XIV

РАЗЛУКА

На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье: когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.

— Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить,— сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски,— она маленькая...

— Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч,— отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички.— Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками,— прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.

Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщи-

ков — сгорбленный старик в зимней шапке и армяке — держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой — видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачовыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо,— положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку,— даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали; другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак — одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?

«Что я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».

— Кому прикажете записку о детском белье отдать? — сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к maman.

— Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидал это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни

другого: что нужно купить для дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie? и хороша ли будет дорога?

Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что maman вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно.

Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.

Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял maman и несколько раз поцеловал ее.

— Полно, мой дружок,— сказал папа,— ведь не навек расстаемся.

— Все-таки грустно! — сказала maman дрожащим от слез голосом.

Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.

Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что — полагая, что она теперь обратится ко мне,— я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя.

Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Их «пожалуйте ручку-с», звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.

Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение maman решительно ускользают из моего воображения: может быть, оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что, если бы

я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов.

Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что maman еще здесь.

«Посмотреть ли на нее еще или нет?.. Ну, в последний раз!» — сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время maman с тою же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз.

Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее.

Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться... Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.

Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами — заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили — кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами.

Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими — и ту жалко. Все, все жалко! А бедная maman? И слезы опять навертывались на глаза; но ненадолго.

Глава XV

ДЕТСТВО

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька,— говорит мне maman,— ты бы лучше шел на верх.

— Я не хочу спать, мамаша,— ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит по-

дле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие,— но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым,— и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Глава XVI

СТИХИ

Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел на верху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.

— А сюда вы не положите еще тени? — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.

— Нет, не нужно,— сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедер в задвижной ящичек,— теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька,— прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка,— откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа,— сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.

Против моего ожидания, оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне — напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иваныч любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л... Петровской. 1828. 3 июни

Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Еще отнине и до всегда,
Помните еще до моего гроба,
Как верен я любить имею.

Карл Мауер.

Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены... не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И лю-бим, как родну-ю мать,— твердил я себе под нос.— Какую бы рифму вместо *мать?* играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался...

«Зачем я написал: *как родную мать?* ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».

В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.

— Ну, так и быть! — сказал я в сильном нетерпении, с до-

садой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку — не так, как в деревне нам шивали, на рост,— черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» — мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги.— Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно, и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

— Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! — прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.

Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой в то время, как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи — рисунок, у меня — стихи; у каждого на языке было

приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее именинице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.

Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

— Ну, покажи же, Николенька, что у тебя — коробочка или рисованье? — сказал мне папа. Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно

отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: *как родную мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!» — но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant» [1], и поцеловала меня в лоб.

Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.

— Княгиня Варвара Ильинишна,— доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? — повторил лакей.

Глава XVII

КНЯГИНЯ КОРНАКОВА

— Проси,— сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.

Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.

[1] Прелестно *(франц.)*.

Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.

Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее ma bonne tante [1], я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:

— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; а что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить... У него всегда дел пропасть; да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?

И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:

— Что, как ваши детки, моя милая?

— Да, слава богу, ma tante [2], растут, учатся, шалят... особенно Этьен — старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен — un garçon, qui promet [3]. Можете себе представить, mon cousin,— продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать,— можете себе представить, mon cousin, что он сделал на днях...

И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:

— Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.

И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.

— Разве вы *бьете* своих детей, моя милая? — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово *бьете*.

---

[1] Моя добрая тетушка *(франц.)*.
[2] Тетушка *(франц.)*.
[3] Мальчик, подающий надежды *(франц.)*.

— Ах, ma bonne tante,— кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня,— я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх... не так ли, mon cousin? А чего, je vous demande un peu [1], дети боятся больше, чем розги?

При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.

— Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок; вот девочка — другое дело.

«Какое счастье,— подумал я,— что я не ее сын».

— Да, это прекрасно, моя милая,— сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение,— это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?

И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:

— Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.

Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.

— Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми,— сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.

Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.

— Поцелуйте же руку княгини,— сказал папа.

— Прошу любить старую тетку,— говорила она, целуя Володю в волосы,— хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства,— прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:

— Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?

— Этот у меня будет светский молодой человек,— сказал папа, указывая на Володю,— а этот поэт,— прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т. д., и т. д.

— Который? — спросила княгиня, удерживая меня за руку.

---

[1] Скажите на милость *(франц.)*.

— А этот, маленький, с вихрами,— отвечал папа, весело улыбаясь.

«Что ему сделали мои вихры... разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол.

Я имел самые странные понятия о красоте — даже Карла Иваныча считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

Я очень хорошо помню, как раз за обедом — мне было тогда шесть лет — говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице, говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:

— Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.

Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком.

Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастия на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо.

Глава XVIII

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ

Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее *вы*, *моя милая* и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала.

Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе, около подъезда, целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.

— Bonjour, chère cousine [1],— сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки.

[1] Здравствуйте, дорогая кузина (*франц.*).

Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты.

Князь Иван Иваныч в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастию, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека *очень большого света*. Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гете, Шиллере

и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные, люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя.

Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакого воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.

Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее ma cousine, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал:

— Почем знать, ma cousine, может быть, это будет другой Державин.

При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.

Гости разъехались, папа и Володя вышли; в гостиной остались князь, бабушка и я.

— Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? — спросил вдруг князь Иван Иваныч после минутного молчания.

— Ah! mon cher [1],— отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира,— она, верно бы, приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Pierre предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год; и пишет: «Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем

[1] Ах! мой дорогой (*франц.*).

домом в Москву. Любочка еще слишком мала; а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». Все это прекрасно! — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно,— мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то какое же им могли дать воспитание в деревне?.. ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать... Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие... в комнату войти не умеют.

— Я, однако, не понимаю,— отвечал князь,— отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У *него* очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно игрывали на театре, я знаю как свои пять пальцев,— чудесное именье! и всегда должно приносить прекрасный доход.

— Я вам скажу, как истинному другу,— прервала его бабушка с грустным выражением,— мне кажется, что все это отговорки, для того только, чтобы *ему* жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и бог знает что делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта — она *ему* во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне,— она поверила; скажи он ей, что детей нужно сечь, так же как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется бы, согласилась.— сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения.— Да, мой друг,— продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу,— я часто думаю, что *он* не может ни ценить, ни понимать ее и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе — я очень хорошо знаю это,— она не может быть с ним счастлива; и помяните мое слово, если он не...

Бабушка закрыла лицо платком.

— Eh, ma bonne amie [1],— сказал князь с упреком,— я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее — вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я *его* давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа и главное — за благороднейшего человека, un parfait honnête homme [2].

Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.

---

[1] Э, мой добрый друг *(франц.)*.

[2] Вполне порядочного человека *(франц.)*.

Глава XIX

ИВИНЫ

— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом но-

сом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка*. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились на верх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно

ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали *возиться* и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись,— он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева[1], положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее

---

[1] Лексико́н Тати́щева — французско-русский словарь (лексикон); издавался в конце XVIII и первой четверти XIX века.

на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец,— сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищеные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вот баба, нюня,— сказал он, слегка трогая его ногою,— с ним шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка,— злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

— А-а! каблуками бить да еще браниться! — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает... Пойдемте вниз,— сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

— Э, Сергей! — сказал я ему,— зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!.. я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда,— подумал я.— Иленька больше ничего как плакса, а вот Сережа — так это молодец... что это за молодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков,

которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.

Глава XX

СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ

Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.

При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь *ванька* с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая, в синем салопе с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки,

из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.

Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.

Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.

Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «Quelle charmante enfant!»[1] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.

— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок,— сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок,— прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера,— прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою.

Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.

Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненьки-

---

[1] Какой очаровательный ребенок! *(франц.)*

ми голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

— Не знаю,— отвечал он мне небрежно,— я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда,— прибавил он с выразительным жестом,— прекрасно!

— Ваше сиятельство,— сказал лакей, входя в переднюю,— Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?

— Как куда дел? да я ему отдал.

— Он говорит, что не отдавали.

— Ну, так на фонарь повесил.

— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство,— продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.

Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу.

— Ну, потерял так потерял,— сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений,— что сто́ит ему кнут, так я и заплачу. Вот уморительно! — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.

— Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке...

— Замолчишь ли ты! — крикнул молодой князь, побледнев от злости.— Вот я все это скажу.

— Все скажу, все скажу! — проговорил лакей.— Нехорошо, ваше сиятельство! — прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.

— Вот так, так! — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.

Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла *вы* и *ты* наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его *вы*, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого *сложения:* он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что, когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.

Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.

Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.

Глава XXI

ДО МАЗУРКИ

— Э! да у вас, видно, будут танцы,— сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток,— надо перчатки надевать.

«Как же быть? а у нас перчаток-то нет,— подумал я,— надо пойти на верх — поискать».

Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Иванычем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.

— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее, верно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватятся. Что мне делать? — говорил я, размахивая руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя,— иди ангажируй даму... сейчас начнется.

— Володя,— сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию,— Володя, ты и не подумал об этом!

— О чем? — сказал он с нетерпением.— А! о перчатках,— прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку,— и точно нет; надо спросить у бабушки... что она скажет? — и, нимало не задумавшись, побежал вниз.

Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.

Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей:

— Бабушка! что нам делать? у нас перчаток нет!

— Что, мой друг?

— У нас перчаток нет,— повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.

— А это что,— сказала она, вдруг схватив меня за левую руку.— Voyez, ma chère[1],— продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной,— voyez comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille[2].

Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим.

---

[1] Посмотрите, моя дорогая *(франц.)*.

[2] Посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью *(франц.)*.

Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным,— в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было,— страдание прекращается.

Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в chaîne [1] подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она jetè-assemblé [1] своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал chassé en avant, chassé en arrière, glissade [2] и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.

Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Vous êtes une habitante de Moscou? [3] — сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал: — Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté

---

[1] Шен, жетэ-ассамбле — фигуры в танце.

[2] Шассе-ан-аван, шассе-ан-арьер, глиссад — фигуры в танце.

[3] Вы постоянно живете в Москве? *(франц.)*

la capitale» [1],— рассчитывая в особенности на эффект слова «fréquenter» [2]. Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось: я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?

Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «merci» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — подумал я, беззаботно разгуливая по зале,— я готов на все!»

Сережа предложил мне быть с ним vis-à-vis. «Хорошо,— сказал я,— хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.

Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.

---

[1] А я еще никогда не посещал столицы *(франц.)*.
[2] Посещать *(франц.)*

Глава XXII

МАЗУРКА

Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать pas de Basques [1], которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.

Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.

«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою.— Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а pas de Basques не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла...» Мне было чрезвычайно весело.

Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись,— должно быть, желая тем угодить бабушке,— подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Rose ou hortie?» [2] — сказала она мне.

— А, ты здесь! — сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка.— Иди же, мой дружок, иди.

Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — я встал, сказал «rose» [3] и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.

Я знал, что pas de Basques неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые в свою очередь передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные

---

[1] П а - д е- б а с к — старинное па мазурки *(франц.)*.

[2] Роза или крапива? *(франц.)*

[3] Роза *(франц.)*.

па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что, если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился, с намерением сделать то самое *коленце*, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.

— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas! [1] — сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.

«Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!»

. . . . . .

Все презирают меня и всегда будут презирать... мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям... все пропало! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка... она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку... И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.

Глава XXIII

ПОСЛЕ МАЗУРКИ

За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после

---

[1] Не нужно было танцевать, если не умеешь! *(франц.)*

случившегося со мной несчастия, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.

Вдруг раздались из залы звуки гросфатера, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.

— Еще полчасика,— убедительно говорила Сонечка.

— Право, нельзя, мой ангел.

— Ну для меня, пожалуйста,— говорила она, ласкаясь.

— Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? — сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.

— А, позволила! останемся? — заговорила Сонечка, прыгая от радости.

— Что с тобой делать? Иди же, танцуй... вот тебе и кавалер,— сказала она, указывая на меня.

Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу.

Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.

Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.

«Если бы я был всегда такой, как теперь,— подумал я,— я бы еще мог понравиться».

Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы,

в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя, я понял, как глупо *мне* надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.

Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастием. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать.

Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастие, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем».

— Не правда ли, что нынче очень весело? — сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.

— Да... очень! — отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.

— Особенно после ужина... Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.

— Отчего ж не увидимся? — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили,— каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?

— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.

— Знаете что? — сказала вдруг Сонечка,— я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю *ты*; давайте и с вами говорить *ты*. Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.

В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера.

— Давай...те,— сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.

— Давай *ты*, а не давайте,— поправила Сонечка и засмеялась.

Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с *ты*, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало

на это смелости. «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.

Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.

Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.

Глава XXIV

В ПОСТЕЛИ

«Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? — рассуждал я, лежа в постели.— Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви... а Сонечка? что это за прелесть! «Хочешь?», «тебе начинать».

Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому что *ты, тебе, с тобой, твои* встречались в нем беспрестанно.

Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладост-

ного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастия.

— Милочка! — сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок.— Володя! ты спишь?

— Нет,— ответил он мне сонным голосом,— а что?

— Я влюблен, Володя! решительно влюблен в Сонечку.

— Ну так что ж? — отвечал он мне, потягиваясь.

— Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается... вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.

— Только одного я бы желал,— продолжал я,— это — чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен? признайся по правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это.

— Тебе какое дело? — сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом,— может быть.

— Ты не хочешь спать, ты притворялся! — закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло.— Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?.. такая прелесть, что скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! — сказал я,— сейчас прыгну, и с радостью. Ах, какая прелесть! — прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки.— Ужасно хочется плакать, Володя.

— Вот дурак! — сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного: — Я так совсем не так, как ты: я думаю, что, если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать...

— А! так ты тоже влюблен? — перебил я его.

— Потом,— продолжал Володя, нежно улыбаясь,— потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки — всю бы расцеловал...

— Глупости! — закричал я из-под подушек.

— Ты ничего не понимаешь,— презрительно сказал Володя.

— Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости,— сказал я сквозь слезы.

— Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка!

Глава XXV

ПИСЬМО

Шестнадцатого апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам на верх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.

Причиною такого неожиданного отъезда было следующее письмо.

Петровское, 12 апреля.

«Сейчас только, в десять часов вечера, получила я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.

Пожалуйста, не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать.

В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься; но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтобы вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать и главное — видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был

жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху.

La belle Flamande[1], как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если б она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что, если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее.

Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит: «Я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет». Катенька все так же мила, Мими так же добра и скучна.

Теперь поговорим о серьезном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?

Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь: верно, ты проиграл очень много, и нисколько, божусь тебе, не огорчаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но, извини меня, даже и на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить его об одном, чтобы он избавил нас... не от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты,

---

[1] Красавица фламандка *(франц.)*.

после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или... и подумать страшно, а ужасное несчастие это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим господь!

Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания...

Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но, во всяком случае, умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы его; постараемся же с твердостию и надеждою на милосердие божие перенести это несчастие. Покоримся воле его.

Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, что бы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что богу было угодно открыть мне это,— мне осталось жить очень недолго.

Кончится ли вместе с жизнию моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

Я спокойна, и богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?.. Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем *мне* умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою?

Да будет его святая воля.

Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастие, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин — мой Николенька.

Неужели они когда-нибудь забудут меня?!»

В этом письме была вложена французская записочка Мими следующего содержания:

«Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решилась его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините это маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее!»

Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, maman положила его подле себя на столик и започивала.

— Я сама,— говорила Наталья Савишна,— признаюсь, за-

дремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон — часу этак в первом,— что она как будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» — только она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»

— Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.

Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже.

Глава XXVI

ЧТО ОЖИДАЛО НАС В ДЕРЕВНЕ

Восемнадцатого апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли maman? — он с грустию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился; но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки: «Где Наталья Николаевна?» — голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

— Шестой день уж не изволят выходить из спальни.

Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу — прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно его беспокойство: войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах, Петр Александрыч! — сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: — Здесь нельзя пройти — ход из девичьей».

О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!

Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове maman, которую не было видно в эту минуту.

Девушка эта была la belle Flamande, про которую писала maman и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы maman и поправила на груди складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытьи».

Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..

Нас увели.

Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала:

— Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут,— прихожу, а

уж она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно, недостает сказать, что хотелось: только откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич остановил, говорит: «Это хуже встревожит ее, лучше не надо». После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла; да, видно, не привел ее господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу: «Матерь божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.

— Ну, а потом? — спросил я.

Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.

Maman скончалась в ужасных страданиях.

Глава XXVII

ГОРЕ

На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

Посредине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим однообразным голосом читал псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо, но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение

всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была *она*. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.

Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.

Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.

Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна.

Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.

Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла maman) перед самою смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утеши-

тельные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира,— возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас *сиротами*. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им, верно, нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать madame.

В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к богу, она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро.

«Вот кто истинно любил ее!» — подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.

Глава XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Maman уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было...

Мне казалось, что после такого несчастия все должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие.

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати.

Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели:

— Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.

— Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая ее за руку,— я совсем не за этим... я так пришел... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нет, батюшка, я уж выспалась,— сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток).— Да и не до сна теперь,— прибавила она с глубоким вздохом.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастии; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой.

— Наталья Савишна,— сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель,— ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.

— Кто мог ожидать этого? — повторил я.

— Ах, мой батюшка,— сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания,— не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех

схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых и там нужно.

Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я,— ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка,— сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели,— теперь ее душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.

— Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть...

Долго еще говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим,— заключила Наталья Савишна.

И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, что-

бы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:

— На много ступеней подвинул меня этим к себе господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?

— А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез.

— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.

В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком.

— Изюму полтора, сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.

— Сейчас, сейчас, батюшка,— сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта? — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене,— и три с половиною довольно будет.

И она сняла с весков несколько кусочков.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело — восемь фунтов?

— Как же быть-с? он говорит, все вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!

Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что мо-

жет заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.

Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.

Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.

Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее.

Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств.

Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп: она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, ду-

ша моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала...» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет,— продолжала она, нахмурившись,— вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала страшным истерическим хохотом.

Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.

Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас.

В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье.

Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.

После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель.

Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении — экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими

слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не даст.

Поверяя богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».

За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчице; потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно не тронуто молью.

Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платий — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое — пюсовое, в клетках — мне, для того же употребления; а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений.

Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.

Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые

могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя божие.

Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.

Что ж! ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления?

Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..

ОТРОЧЕСТВО

Глава I

ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ

Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью,— но так приятно,

хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь ее память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства — довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и все уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевитые от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец отворяется дверь и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбе-

гает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как все это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно... Дорога широкой дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастие, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным, тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две

секунды, и лица, на расстоянии двух аршин, приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень, ямщик, и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастия быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» — спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» — обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается — и мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?..

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно, мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

— Василий,— говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах,— пусти меня на козлы, голубчик.— Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же

начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везет,— говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать,— говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание,— не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар все усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимают темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий с удивительной ловкостью на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда вперегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Дви-

жущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней — дымом, дегтем, баранками, послышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпрру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

Глава II

ГРОЗА

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и проле тают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.

Тпру! оторвался валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыхание замиранием сердца безнадежно слежу за движениями тол-

стых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глянцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

— Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста ради,— звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда все уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста ради». Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи.

Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиялки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи,— посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

Глава III

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву,— сказал я,— как ты думаешь, какая она?

— Не знаю,— отвечала она нехотя.

— Ну все-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить на верху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Maman говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Все-таки я боюсь ее; да, впрочем, бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания,— ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали

из Москвы. Скажи по правде,— прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней,— отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее,— я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде,— продолжал я,— прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...

— Совсем нет...

— Нет, дай мне договорить,— перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль,— ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться,— отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какою-то фаталическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе,— отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа.— Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я,— и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я пони-

мал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я,— как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

— В актрисы пойдешь... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

Глава IV

В МОСКВЕ

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое, морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке,— вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой* и который вдруг, бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уже свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне и теперь все пойдет иначе.

Глава V

СТАРШИЙ БРАТ

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже

казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу: может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною

в симметрии разнообразных украшений его столика.— А где флакончик? непременно ты...

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам,— сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста, *не командуй*,— отвечал я.— Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне *чего*,— продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа,— разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намерен с тобой браниться,— сказал Володя, слегка отталкивая меня,— убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» — и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!..— закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, теперь все кончено между нами,— думал я, выходя из комнаты,— мы навек поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом,— полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало

давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Вол...дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах...

Глава VI

МАША

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастие.

С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас,— я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «Ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет — разве хорошо будет?»

«Не придет»,— шепотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!» — и Маша, с сдернутой набок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это от-

крытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим на верху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел на верх и, так же как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой... отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится...» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

Глава VII

ДРОБЬ

— Боже мой, порох!..— воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом.— Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас...

И с неописанным выражением твердости духа Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую

произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда, по ее мнению, опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать»,— проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь и что бабушке уже все известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

— Как себя чувствуете нынче, maman? хорошо ли почивали? — сказал папа, почтительно целуя ее руку.

— Прекрасно, мой милый; кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова,— отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос.— Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? — продолжала она, обращаясь к Гаше.

— Я вам подала,— отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Время будет, так натру.

— Что вы говорите?

— Натру нынче.

— Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут,— проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый,— сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты,— как со мной говорят в моем доме?

— Позвольте, maman, я сам натру вам табак,— сказал папа, приведенный, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый,— продолжала бабушка после минутного молчания,— что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им,— сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

— Да это дробь, maman,— сказал он,— это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком...

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*,— сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька»,— что он смотрит?

— Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*,— подхватила Мими.

— Ну вот видите, какой он хороший,— продолжала бабушка,— и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

— Я его отпустил в гости,— сказал папа.

— Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня,— продолжала бабушка,— но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки,— она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

— Я давно уже думал об этом,— поспешил сказать папа,—

и хотел посоветоваться с вами, maman: не пригласить ли нам St.-Jérôme'a, который теперь по билетам дает им уроки?

— И прекрасно сделаешь, мой друг,— сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде.— St.-Jérôme, по крайней мере, gouverneur, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison [1], а не простой menin, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

— Я завтра же поговорю с ним,— сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

Глава VIII

ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч,— сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог все видит и все знает, и на все его святая воля,— сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая.— Да, Николенька,— продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него,— моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда,— сказал он, указывая на небо.— Когда б

---

[1] Детей из хорошей семьи (*франц.*).

вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну божию, некуда преклонить свою голову,— заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!..

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

— *Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри.* Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter! — повторил он еще с большим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово: разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни — не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька го-

ворил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда, в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! — сказала она,— никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька,— говорила она мне,— учись хорошенько и будь всегда честным человеком, бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden — sagte sie — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город к господину Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал: «Хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!» [1], но... человек предполагает, а бог располагает... в 1796 году была назначена Konskription [2], и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года, должны были собраться в город.

Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Los [3], кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил хороший нумеро — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug» [4],— я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

— Папенька! — я сказал,— не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить — я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

— Вы честный человек, Карл Иваныч! — сказал мне папенька и поцеловал меня.— Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und küsste mich.

И я был Soldat!»

---

[1] Подмастерьем *(нем.)*.
[2] Рекрутский набор *(нем.)*.
[3] Жребий *(нем.)*.
[4] Кружек пива *(нем.)*.

Глава IX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

«Тогда было страшное время, Николенька,— продолжал Карл Иваныч,— тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него.— Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadier отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon [1], и я пустил его!

Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

На четвертые сутки нас, слава богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat все взял у меня. На мое счастье, у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес мадер и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «Есть, господин Мауер...» — «Мой отец и мать,— я сказал,— восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О господин сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего бога».

Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!»

---

[1] Но француз бросил свое ружье и запросил пощады *(нем.)*.

Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант!» Ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

Часовой ходил с ружьем auf und ab[1] и смотрел на меня. «Qui vive?» — sagte er auf einmal[2], и я молчал. «Qui vive?» — sagte er zum zweiten Mal[3], и я молчал. «Qui vive?» — sagte er zum dritten Mal[4], *и я бегал. Я пригнул в вода, влезал на другой сторона и пустил.* Ich sprang ins Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил отца небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек,— он сказал,— куда вы идете так поздно?» Я сказал: «Я иду в Франкфурт».— «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас... Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита и платье ваше в грязи?» — сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек,— я сказал,— хочу наняться где-нибудь на *фабрик*, а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге».—«Вы говорите неправду, молодой человек,— сказал он,— по дороге теперь сухо».

И я молчал.

— Скажите мне всю правду,— сказал мне добрый человек,— кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек,

---

[1] Взад и вперед *(нем.)*.
[2] «Кто идет?» *(франц.)* — сказал он вдруг *(нем.)*.
[3] «Кто идет?» *(франц.)* — сказал он второй раз *(нем.)*.
[4] «Кто идет?» *(франц.)* — сказал он в третий раз *(нем.)*.

поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

И я сказал: «Хорошо».

Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».

Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос... и Madame L... (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

Когда она *видела* меня, она *сказала*: «Господин Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».

И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».

Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцелуйте меня».

Я *его* поцеловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть»,— и он весь задрожал».

Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да,— начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат,— много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель,— сказал он, указывая на шитый по канве образок спасителя, висевший над его кроватью,— никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин L..., и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

Глава X

ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат?

И мне сказали: «Граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук — подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «Можно выпить рюмочку ликер?» — и она сказала: «Vater! Молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «Подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*». Я сказал: «Я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien».— «Наш сын,— сказал папенька,— был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...» Я курил свою трубочку и сказал: «Как звали вашего сына и где он служил? может быть, я знаю его...» — «Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях»,— сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы»,— сказала сестра Mariechen. Я сказал: «Я знаю вашего Karl».— «Amalia! — sagte auf einmal mein Vater [1],— подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl»,— он сказал, посмотрил на мене и, весь бледны, за...дро...жал!..* «Да, я видел его»,— я сказал и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня *пригнуть* хотело. «Karl мой жив! — сказала маменька.— Слава богу! Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но бог не хочет этого»,— и *он* заплакал... *Я не мог терпейть...* «Маменька! — я сказал,— я ваш Карл! *И он упал мне на рука...*»

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter! — sagte ich,— ich bin Ihr Sohn, ich bin Ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme» [2],— повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

«Но богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастие! das Unglück verfolgte mich überall!..[3] Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил

---

[1] Амалия! — сказал вдруг мой отец *(нем.)*.

[2] «Маменька! — сказал я,— я ваш сын, ваш Карл!» и она бросилась в мои объятия» *(нем.)*.

[3] Несчастье повсюду меня преследовало!.. *(нем.)*

свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Überrock[1], пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter[2] прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «Кто там?» — «Macht auf!»[3] Я сказал: «Скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «Sagt wer ihr seid, und ich werde aufmachen».— «Macht auf im Namen des Gesetzes!»[4] — сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Überrock, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!.. «Пойдемте со мной!» — сказал шпион. «Хорошо»,— я сказал... Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело; я сказал: «Он подлец!» Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «*Ты шпион; защищайся!* Du bist ein Spion, vertheidige dich!» Ich gab ein Hieb[5] направо, ein Hieb налево *и один на галава. Шпион упал!* Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems;[6] там я познакомился с *енерал Сазин*. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда *енерал Сазин* умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь, на старости лет, идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба... *Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля, тольк вас жалько мне, детьи!*» — заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.

Глава XI

ЕДИНИЦА

По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

---

[1] Сюртуке *(нем.)*.
[2] Ночной сторож *(нем.)*.
[3] «Отворите!» *(нем.)*
[4] «Отворите именем закона!» *(нем.)*
[5] Я нанес один удар *(нем.)*.
[6] Я пришел в Эмс *(нем.)*.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Gèographie [1] и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.

— Кажется, Лебедев нынче не придет,— сказал Володя, отрываясь на минутку от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай бог, дай бог... а то я ровно ничего не знаю... однако, кажется, вон он идет,— прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

— Нет, это не он, это какой-то *барин*,— сказал он.— Подождем еще до половины третьего,— прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий.— Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убрать тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить,— сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно по-

---

[1] Понедельник, от 2 до 3, учитель истории и географии *(франц.)*.

разил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с ученьми пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и, отдуваясь, сел на свое место.

— Ну-с, господа,— сказал он, потирая одну о другую свои потные руки,— пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений — за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» — сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым — и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

— Нет, это уж ни на что не похоже! — сказала Мими.— Что вы здесь делали? — Я помолчал.— Нет, это так не останется,— повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы,— я все расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все кончено и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с,— сказал он, потирая руки.

— Выучил-с,— отвечал я.

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого,— сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги.— Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест,— сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу,— потом

объясните мне общие характеристические черты этого похода,— прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь,— и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще,— сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола,— и на французское королевство в особенности,— заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову набок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и все молчал.

— Позвольте перышко,— сказал мне учитель, протягивая руку.— Оно пригодится. Ну-с.

— Людо... кар... Лудовик Святой был... был... был... добрый и умный царь...

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

— Как ее звали-с?

— Б...б...ланка.

— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал идти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мои слова.

— Затем... потому... оттого, затем что...

Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведе-

ния. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михаил Ларионыч! — сказал я.

— Нет,— отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему,— так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастие.

— Класс кончен? — спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да,— сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— A Nicolas?

Я молчал.

— Кажется, четыре,— сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— Voyons, messieurs (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre toilette et descendons [1].

Глава XII

КЛЮЧИК

Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко,— сказал он мне.— Ключи лежат на большом столе в раковине, зна-

---

[1] Ну же, господа! займитесь вашим туалетом и идемте вниз (*франц.*).

ешь?.. Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь все сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня — ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле...

. . . . . .

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme — за единицу, папа — за ключик... и все это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета.— Э! — сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары,— *чему быть, тому не миновать*...— И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

Глава XIII

ИЗМЕННИЦА

После обеда начались petits jeux [1], и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решил доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase* [2]. Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

---

[1] Игры *(франц.)*.

[2] Длинный нос *(нем.)*.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: «*Кто еще остается?*» — «*Да Николенька; ну вот ты его и возьми*». Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон и, к несчастью, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидал следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» — говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним, точно виноватая, и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, mademoiselle Catherine?» — «Я люблю правду,— отвечала Катенька,— проиграла пари, ma chère».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцеловал Сонечку. Так прямо и поцеловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! *О, коварная изменница!*

Глава XIV

ЗАТМЕНИЕ

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'a другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить,— но *так* — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли — рассеянности почти — крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдем»?

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел на верх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости.

— C'est bien [1],— сказал он, догоняя меня,— я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы.— Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны,— прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне, и не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette [2], которой душился St.-Jérôme. Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал он отвратительным, торжествующим голосом,— принеси розог. . . . . .

Глава XV

МЕЧТЫ

Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

---

[1] Хорошо *(франц.)*.

[2] Фиалки *(франц.)*.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть, он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа-кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости»,— говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? — говорю я сам себе,— завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это,— ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя»; и я скажу ему: «Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его»,— так и сказать: «Папа, я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня»,— и я обниму его и скажу ему, почему-то

по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaïteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de dieu soit faite»![1] И я, сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что́ бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'a». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'ом и говорю ему: «Ты сделал мое несчастье, à genoux!»[2] Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о боге, и я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня? «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, чтобы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову, в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о

---

[1] О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится воля божия! *(франц.)*

[2] На колени! *(франц.)*

том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик»,— скажет папа со слезами на глазах. «Да,— скажет St.-Jérôme,— но большой повеса».— «Вы бы должны уважать мертвых,— скажет папа,— вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты,— говорю я,— то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» — «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук...» — «Не надо этого, здесь и так прекрасно»,— говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы все летим выше и выше.* Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

Глава XVI

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ

Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было

очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

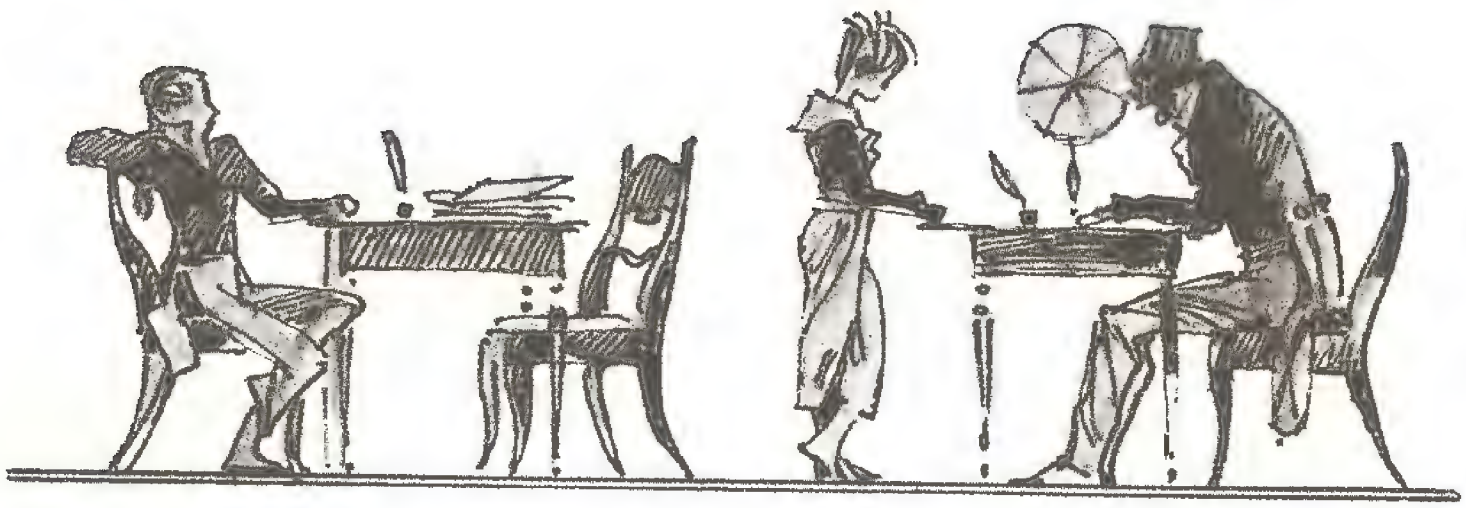
Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым официальным лицом вошел в комнату.

— Пойдемте к бабушке,— сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый,— сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки,— могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Monsieur St.-Jérôme, который по моей просьбе,— прибавила она, растягивая каждое слово,— взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? от вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны,— продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена



«ДЕТСТВО»

заблаговременно,— за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства... Проси сейчас прощения,— прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'a,— слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Коко! — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал.— Коко,— сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом,— ты ли это?

— Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что...— сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

— Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

— Я... я... не... хочу... я не могу,— проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre second mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés [1],— сказал St.-Jérôme трагическим голосом,— à genoux! [2]

— Боже мой, ежели бы она видела это! — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы.— Ежели бы она видела... все к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала все сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

— Tranquillïsez-vous au nom du ciel, madame la comtesse [3],— говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

— Любуйтесь на ваше дело,— сказал St.-Jérôme, уводя меня на верх.

---

[1] Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту *(франц.)*.

[2] На колени! *(франц.)*

[3] Ради бога, успокойтесь, графиня *(франц.)*.

«Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!»

Только что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз,— я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице.

— Ты куда? — спросил меня вдруг знакомый голос.— Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

— Пойдем-ка со мной, любезный! Как ты смел трогать портфель в моем кабинете,— сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную.— А? что ж ты молчишь? а? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват,— сказал я,— я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь,— повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо,— будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.

— Бей меня еще,— говорил я сквозь слезы,— крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду,— сказал я, цепляясь за его сюртук.— Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, *он* всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. *Он* сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я... с... ним... ради бога, высеки... за... что... му... чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чем ты, пузырь? — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

— *Он* мой тиран... мучитель... умру... никто меня не любит!— едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний

доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

Глава XVII

НЕНАВИСТЬ

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter [1] (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Ива-

---

[1] Сечь *(франц.)*.

нычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иваныч был смешной старик, *дядька*, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил: «кукольная комедия, шалунья, мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас mauvais sujet, vilain garnement[1] и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «A genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

---

[1] Негодяй, мерзавец (*франц.*).

Глава XVIII

ДЕВИЧЬЯ

Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным* и *необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.

Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить — одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла

с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «Отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье, сам бы подавал...»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки навыпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его...

— Что, Вася? опять,— сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

— А что ж? разве от *него* добро будет,— отвечал Василий,— хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю так ни за что, и все через *него*.

— Чай будете пить? — сказала Надежа, другая горничная.

— Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эхма! — заключил Василий, махнув рукой.

— Надо покорным быть,— сказала Маша, скусывая нитку,— а вы так все...

— Мочи моей не стало, вот что!

В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.

— Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет... проклятая *жисть*, каторжная! Хоть бы одно что, прости, господи, мое согрешение,— бормотала она, размахивая руками.

— Мое почтение Агафье Михайловне,— сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

— Ну вас тут! Не до твоего почтения,— отвечала она грозно, глядя на него,— и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить...

— Хотел об вашем здоровье узнать,— робко сказал Василий.

— Издохну скоро, вот какое мое здоровье,— еще с бóльшим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

— Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить все и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

— Видно, в другой раз прийти чайку напиться,— сказал Василий шепотом.— До приятного свидания.

— Ничего,— сказала, подмигивая, Надежа,— я вот пойду самовар посмотрю.

— Да и сделаю ж я один конец,— продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты,— либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж... брошу все, убегу на край света, ей-богу.

— А я как останусь...

— Одну тебя жалею, а то бы уж даа...вно моя головушка на воле была, ей-богу, ей-богу.

— Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать,— сказала Маша после минутного молчания,— а то, вишь, какая черная,— прибавила она, взяв его за ворот рубашки.

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

— Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? — сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее.— Довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно, весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? — продолжала она, обращаясь к Маше.— Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, все свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!

— Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него,— проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, ка-

ким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.

«Когда я буду большой,— рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе на верх,— Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «Позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате... Вдруг войдет Василий и, когда увидит Машу, скажет: «Пропала моя головушка!» — и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее и она тебя любит, на́ вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай бог тебе счастья»,— а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

Глава XIX

ОТРОЧЕСТВО

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,— так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и

поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем,— и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь,— понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? — я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

Глава XX

ВОЛОДЯ

Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжеле и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учители, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит на верху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «Дай бог, дай бог»,— а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех

пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостию. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — закона божьего, все стоят у окна и еще с бóльшим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с приличновеличавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины maman пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille [1]. Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах,— они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

---

[1] Последний глоток *(франц.)*.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

Глава XXI

КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА

Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки... и к ней по-прежнему почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит, как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза; и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки.

Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда *arpeggio*...

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

Глава XXII

ПАПА

Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети»,— говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу maman.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить maman, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной jeu perlé [1], прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй,— сказал он, усаживая ее,— ты знаешь, как я люблю тебя слушать...

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «Хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такою нежностию, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза.— Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса.*

[1] Блистательной игрой *(франц.)*.

— Нет, друг мой, играй почаще,— сказал он дрожащим от волнения голосом,— коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой...

Он еще раз поцеловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

— Вольдемар! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее.

— А ты все хорошеешь,— сказал он, наклоняясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову.

— Позвольте,— прошептала она.

— Вольдемар, что ж, скоро ли? — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо и он увидал меня...

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне...

Глава XXIII

БАБУШКА

Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый запах, который пять лет тому назад слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «Мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во все время катанья, мы с Любоч-

кой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «Эхма»,— и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только что мы немного успокаиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

— Votre grande-mère est morte![1] — говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Иваныча. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое вол-

---

[1] Ваша бабушка скончалась! *(франц.)*

нение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила все имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.

Глава XXIV

Я

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело — ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная рожа*, и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что *с моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые*, с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни,— склонности к умствованию.

Глава XXV

ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно,— это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя бы не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали

влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*...

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому,— чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания.

Стыдливость удерживала меня.

Глава XXVI

РАССУЖДЕНИЯ

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение — движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

— Что́, ты дома будешь нынче вечером?

— Не знаю, а что?

— Так,— сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.

— Володя дома? — послышался в передней голос Дубкова.

— Дома,— сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда,— отвечал Володя, краснея.

— Ну вот еще! — поедем, пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду,— уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел затем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат!* — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом,* потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом,* в черном фраке и с прической à la coq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

— Куда это ушел Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю,— отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно, у него денег нет! правда? О! *дипломат!* — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку.— У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим,— сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами.— Вот пятачок, вот двугривенничик, а то ффффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов,— отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?
— Он поедет к кузинам в ложу,— сказал Дубков.
— Нет, я совсем не поеду.
— Отчего?
— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.
— Отчего?
— Не люблю, мне неловко.
— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher [1].
— Что ж делать, si je suis timide! [2] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту, от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.
— Savez-vous d'où vient votre timidité?.. d'un excès d'amour propre, mon cher [3],— сказал Дубков покровительственным тоном.
— Какой тут excès d'amour propre! — отвечал Нехлюдов, задетый за живое.— Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно... от этого...
— Одевайся же, Володя,— сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук.— Игнат, одеваться барину!
— От этого со мной часто бывает...— продолжал Нехлюдов.
Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла»,— запел он какой-то мотив.
— Ты не отделался,— сказал Нехлюдов,— я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.
— Докажешь, ежели поедешь с нами.
— Я сказал, что не поеду.
— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату;* а мы приедем, он нам расскажет.
— И докажу,— возразил Нехлюдов с детским своенравием,— только приезжайте скорей.
— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне.
Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему.
— Я думаю, что да,— сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я *умный,*— я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что ни делает человек,— все из самолюбия.

---

[1] Мой дорогой *(франц.).*
[2] Если я застенчив! *(франц.)*
[3] Знаете, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой *(франц.).*

— Так что же, по-вашему, самолюбие? — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

— Самолюбие,— сказал я,— есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

— Да как же могут быть все в этом убеждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли, или нет, только никто, кроме меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, что вы тоже уверены в этом.

— Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя,— сказал Нехлюдов.

— Не может быть,— отвечал я с убеждением.

— Неужели вы в самом деле так думаете? — сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

— Серьезно,— отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

— Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав,— прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

— Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! — сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею — так они были неясны и односторонни,— для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

Глава XXVII

НАЧАЛО ДРУЖБЫ

С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел на верх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он.

— Нет,— отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушел? — сказал я.

— Может быть,— отвечал он, усаживаясь подле меня,— но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете,— сказал он.

— Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами,— сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание,— отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться,— подтвердил я,— но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете,— сказал я.— А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas,— прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки.— *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

— Давайте,— сказал я.

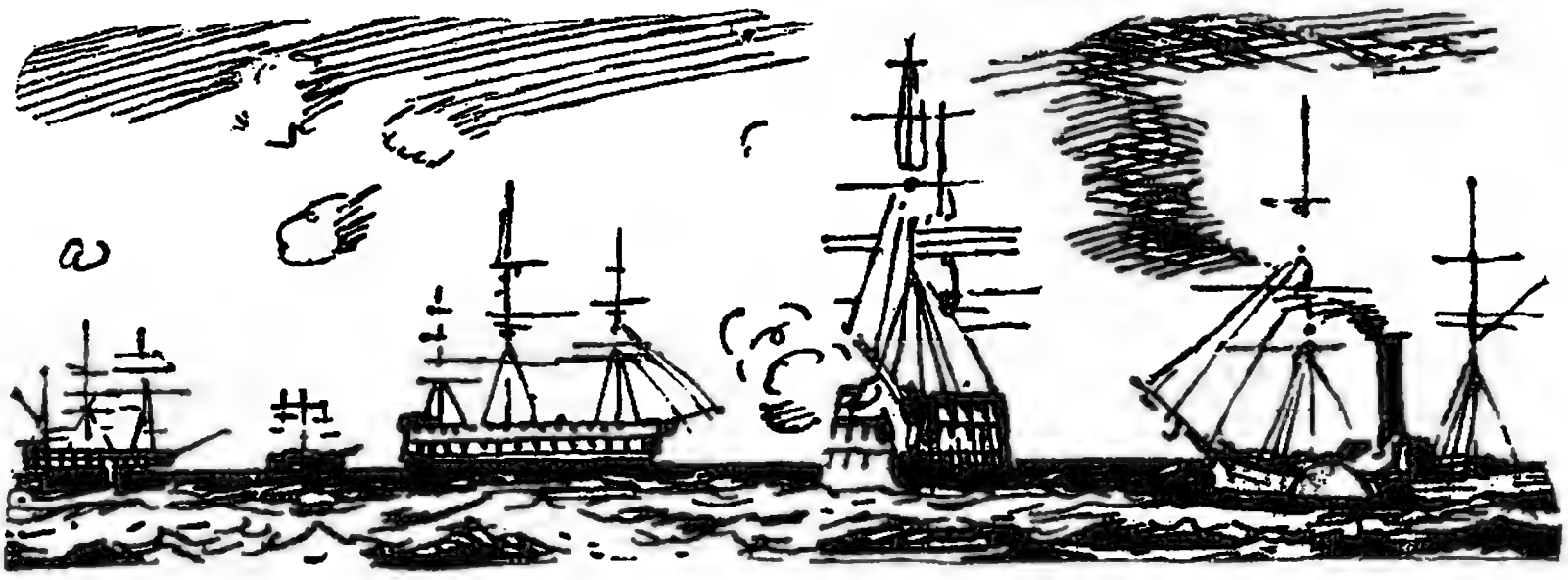
И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов

был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью,— очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...

А впрочем, бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..



СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п.— кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные

ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами,— причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте,— предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина [1] держите,— скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке,— вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все,— заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил,— заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит,— прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку.— Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.— И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас. на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие

---

[1] Корабль «Константин». *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные ко́злы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,— везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия,— так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости,— ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но

прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками,— вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы,— это дурное чувство,— идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

— В ногу,— отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена.— Слава богу теперь,— прибавляет он,— на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,— и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться,— говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что́, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох,— прибавляет она шепотом.— Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь,— так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переме-

няет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа[1] в ногу задело бомбой,— скажет вам ваша путеводительница,— она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

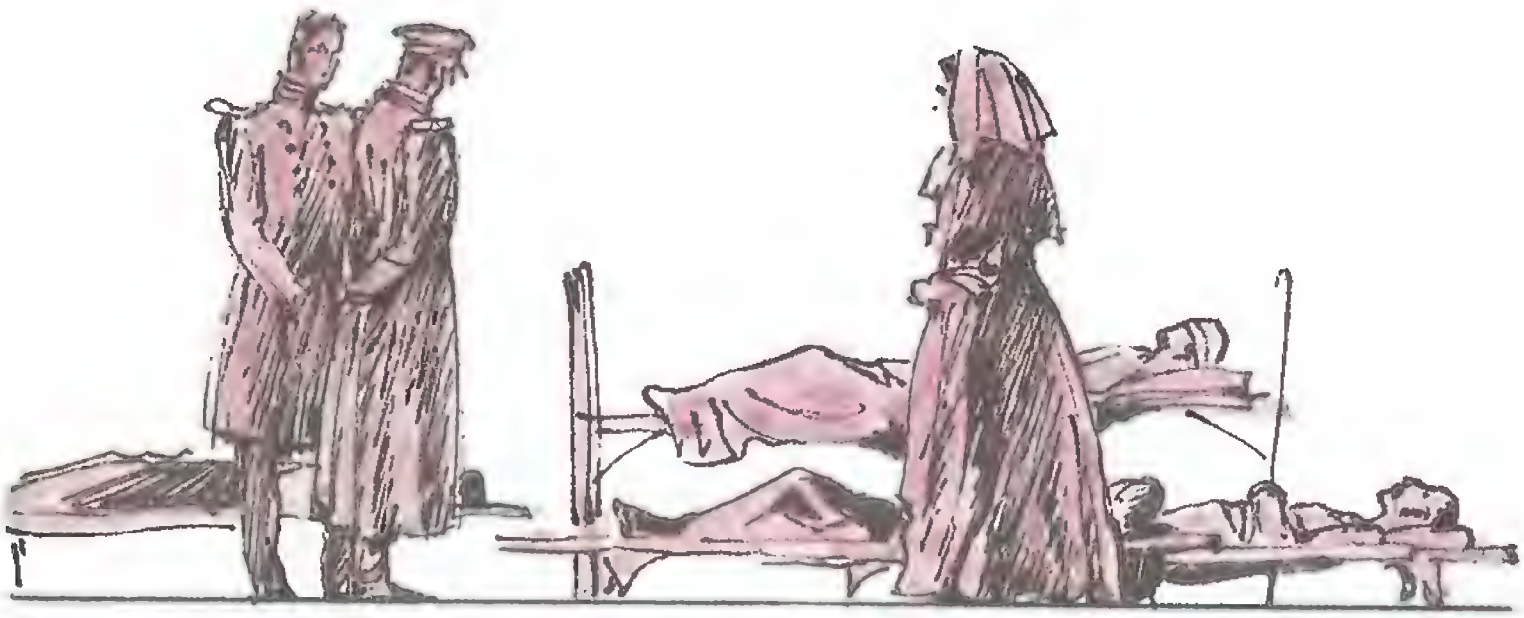
Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания,— увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

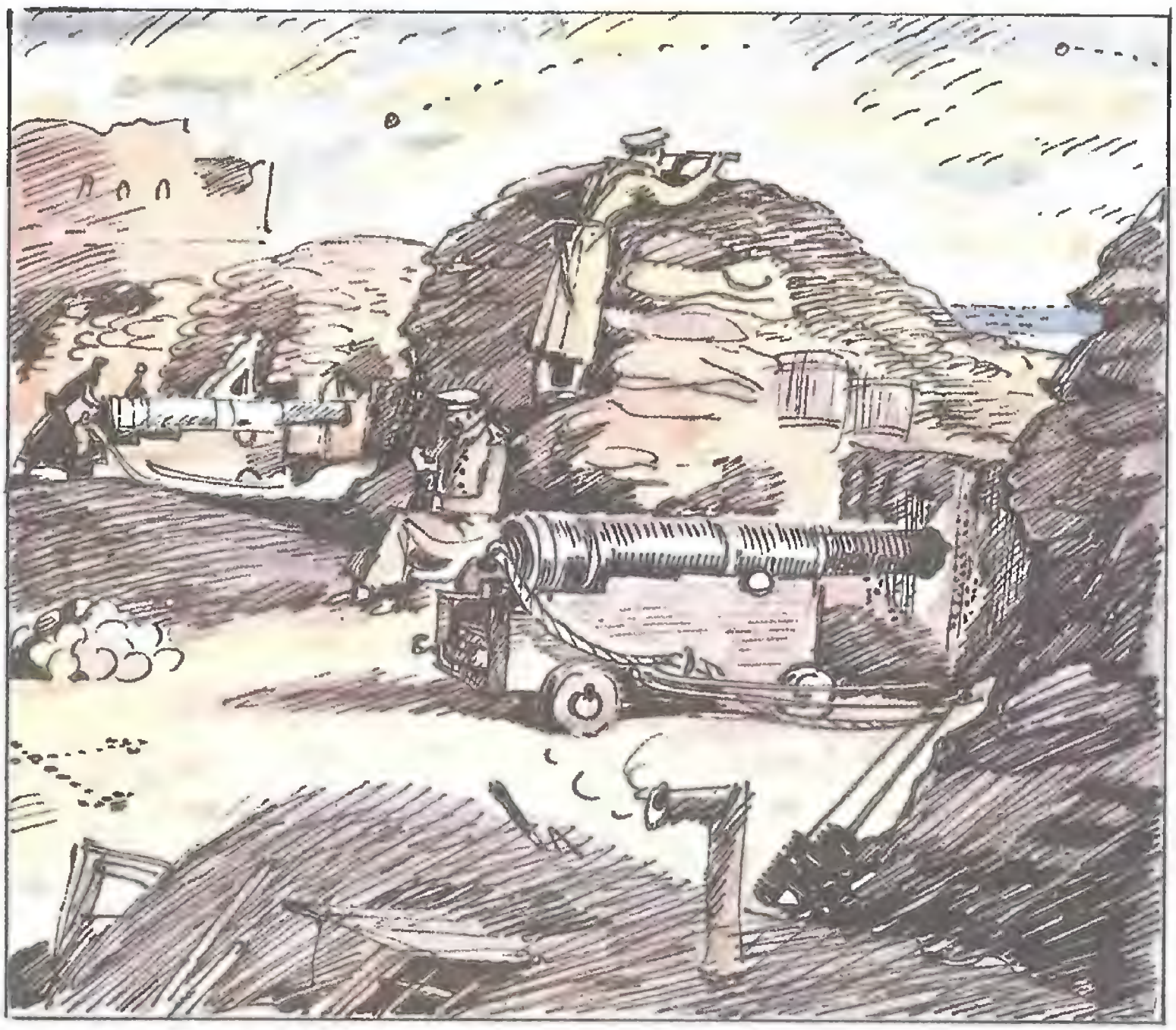
Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

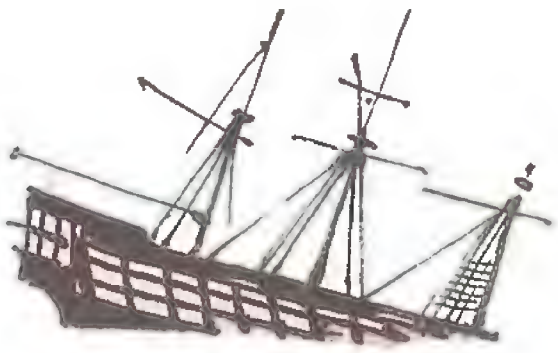
«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное

---

[1] 5 октября 1854 года была первая бомбардировка Севастополя войсками противника.







«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ»

состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого[1], про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Черт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе[2],— отвечает молоденький офицер, и вы непременно с бо́льшим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя»,— скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило»,— скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге.— Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

---

[1] Неудачное для русских войск сражение под Инкерманом.

[2] Четвертый бастион — самый южный, ближе всего выдвинутый к противнику бастион в севастопольской оборонительной линии.

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело[1]. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион»,— непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?»— большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пла-

---

[1] Альминское дело — первое сражение с высадившимися под Севастополем войсками противника при реке Альме 8 сентября 1854 года.

стунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас,— вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра,

следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна,— слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут[1] — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам,— но только, ежели вы его расспросите,— про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*[2] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати — сорока саженях. Одного

---

[1] Язоновский редут.— Редут — замкнутое полевое укрепление, окруженное рвом; Язоновский редут, построенный моряками брига «Язон», находился позади четвертого бастиона.

[2] Моряки все говорят палить, а не стрелять. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — он, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке»,— и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского,— простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные о́рганы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть,— это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли»,— услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда»,— скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!» [1] — и вы услышите равномерное, довольно приятное

---

[1] Мортира. *(Прим. Л. Н. Толстого.)* Орудие с коротким стволом для ведения навесного огня.

и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь»,— говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

. . . . . .

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра,— идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли,— это убеж-

дение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— о временах, когда этот герой, достойный древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя»,— и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля.

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что́, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против

одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город — на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен — длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги,— но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартермистр полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то *Пупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю,

хватает газеты и бежит с ними на *эс* в *беседку*, в *гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов,— говорит она,— так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу,— он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) — так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уже сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на *эсе* (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним,— вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором

ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное — «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей — водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи,— думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку,— когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» — и он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним — с адъютантом — штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим — штаб-офицером — мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку*.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов, и поручик Паштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости — порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся,— думает он,— или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*?» Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?),— между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа и неаристократа*.

Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, кото-

рый сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых *ста двадцати двух* светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из ста двадцати двух героев. К счастию Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него), он счел не унизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полти-

ной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

— Что, капитан,— сказал Калугин,— когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте,— жарко было? а?

— Да, жарко,— сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

— Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен,— продолжал Михайлов,— один офицер, так...— Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

— А я чувствую, что на днях что-нибудь будет,— сказал он князю Гальцину.

— А что, не будет ли нынче чего-нибудь? — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

— Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

— Это около моей квартиры дочь одного матроса,— отвечал штабс-капитан.

— Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью

просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче,— думал штабс-капитан,— я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда

я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира[1] наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был идти... да, *долг*. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

— Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! — сердито сказал Михайлов.

— Чего спать? — проворчал Никита.— День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось,— а тут не засни еще.

— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

— Молчи, скотина! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

— Скотина! скотина! — повторял слуга.— И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

— Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита,— сказал он кротким голосом.— Письмо это к батюшке, на столе оставь так и не трогай,— прибавил он, краснея.

— Слушаю-с,— сказал Никита, расчувствовавшийся под

[1] То есть к награждению орденом Владимира.

влиянием вина, которое он выпил, как говорил, *«на свои деньги»*, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!» — то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят,— рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону.— Но куда? как? сюда или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь.— Вот ежели бы сюда,— он думал о верхней части ноги,— да кругом бы обошла. Ну, а как сюда да осколком — кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

— Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя,— говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки,— как же он женился?

— Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à Pétersbourg [1],— сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина,— просто умора. Уж я все это знаю подробно.— И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

— Что Масловский?

— Который? лейб-улан или конногвардеец?

— Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший — ротмистр?

— О! уж давно.

— Что, все возится с своей цыганкой?

— Нет, бросил,— и т. д. в этом роде.

Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

— Подай князю,— сказал Калугин.

— А ведь странно подумать,— сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну,— что мы здесь в осажденном городе: *форта-плясы* [2], чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

— Да уж ежели бы еще этого не было,— сказал всем недовольный старый подполковник,— просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют — и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

— А как же наши пехотные офицеры,— сказал Калугин,— которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ,— как им-то?

— Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить,—

---

[1] Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге *(франц.)*.

[2] То есть фортепьяно.

сказал Гальцин,— чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, cette belle bravoure de gentilhomme [1],— не может быть.

— Да они и не понимают этой храбрости,— сказал Праскухин.

— Ну что ты говоришь пустяки,— сердито перебил Калугин,— уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

— Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN? — спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

— По крайне нужному делу-с,— сказал офицер после минутного молчания.

— А! так пожалуйте,— сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

— Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit [2],— сказал Калугин, выходя от генерала.

— А? что? что? вылазка? — стали спрашивать все.

— Уж не знаю — сами увидите,— отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

— Да ты мне скажи,— сказал барон Пест,— ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на первую вылазку.

— Ну, так и иди с богом.

— И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти,— сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

— Ничего не будет, уж я чувствую,— сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа».— «До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся»,— прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и

---

[1] Этой прекрасной храбрости дворянина *(франц.)*.

[2] Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко *(франц.)*.

Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

— Да, немножко! — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

— Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit? [1] — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

— Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея,— и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

— Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его?* вон лопнула,— говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— Quel charmant coup d'oeil! [2] a? — сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище.— Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу,— отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда.— Еще успеешь, братец!

— Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а?

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескот-

---

[1] Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? *(франц.)*

[2] Какой красивый вид! *(франц.)*

ня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

— Вот оно когда пошло настоящее! — сказал Калугин.— Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура»,— прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а-а» — доносившихся до него с бастиона.

— Чье это «ура»? их или наше?

— Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец офицер с казаком и слез с лошади.

— Откуда?

— С бастиона. Генерала нужно.

— Пойдемте. Ну что?

— Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона,— говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

— Что ж, отступили? — спросил Гальцин.

— Нет,— сердито отвечал офицер,— подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади (и опять той особенной quasi[1]-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дождаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в гошпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки,

---

[1] К в á з и — латинское слово, которое прибавляется в русском языке к отдельным словам в значении: мнимый, ненастоящий

и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

— Господи, мати пресвятыя богородицы! — говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую.— Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая,— прямо над нашим домом в слободке.

— Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают,— сказала девочка.

— И где-то, где-то барин мой таперича? — сказал Никита нараспев и еще пьяный немного.— Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьеть, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евтими сменить, что тут в карты играють,— это что — тьфу! — одно слово! — заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

— Звездочки-то, звездочки так и катятся,— глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты,— вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маынька?

— Совсем разобьют домишко наш,— сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нынче с дяинькой ходили туда, маынька,— продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка,— так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

— У кого были мужья да деньги, так повыехали,— говорила старуха,— а тут — ох, горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, господи!

— А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землею, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

— Крест ей за это надо,— сказал юнкер, который вместе с

офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

— Ты сходи до генерала, старуха,— сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу,— право!

— Pójdę na ulicę zobaczyć co tam nowego [1],— прибавил он, спускаясь с лесенки.

— A my tym czasem napijmy się wódki, bo coś dusza w pięty ucieka [2],— сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадческий.

7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

— Как они подскочили, братцы мои,— говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами,— как подскочили, как крикнут: алла, алла! [3] так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

— Ты с бастиона?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, что там было? Расскажи.

— Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила*, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

— Как одолели? Да ведь вы отбили же?

— Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это — странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

— Как же мне говорили, что отбили,— с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

— Не изволите ли знать, что это такое было? — спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

---

[1] Сходить на улицу, узнать, что там новенького *(польск.).— Пер. Л. Н. Толстого.*

[2] А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно *(польск.).— Пер. Л. Н. Толстого.*

[3] Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «алла!». *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Я сам расспрашиваю,— сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями,— может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

— Сейчас, ваше благородие! — отвечал солдат.— Вряд ли, должно, за ним траншея осталась,— совсем одолел.

— Ну, как вам не стыдно — отдали траншею. Это ужасно! — сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием.— Как вам не стыдно! — повторил он, отворачиваясь от солдата.

— О! это ужасный народ! Вы их не изволите знать,— подхватил поручик Непшитшетский,— я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты*, только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам.

— Что ж, когда *сила!* — проворчал солдат.

— И! ваши благородия,— заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними,— как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! — застонал раненый.

— А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет,— сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями.— Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

— Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго.— Него...

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

— Ранен, ваше благородие!

— Чем ранен?

— Сюда-то, должно, пулей,— сказал солдат, указывая на руку,— а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло,— и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волоса на затылке.

— А ружье другое чье?

— Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно,— прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

— А ты *где* идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет — что редко с ним случалось,— отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

8

Большая, высокая темная зала — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых,— была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипении, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры*, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, fractura femoris complicata [1],— кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу.— Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

— Perforatio capitis [2].

---

[1] Осложненное раздробление бедра *(лат.)*.

[2] Прободение черепа *(лат.)*.

— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу,— говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

— Perforatio pectoris...[1] Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: moritur[2]. Несите его,— сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

. . . . . .

9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш, скакал с бастиона.

— Зобкин! Зобкин! Постойте на минутку.

— Ну, что?

— Вы откуда?

— Из ложементов.

— Ну как там? жарко?

— Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

— Vous êtes blessé? [3] — сказал ему Наполеон.

---

[1] Прободение грудной полости *(лат.)*.

[2] Умирает *(лат.)*

[3] Вы ранены? *(франц.)*

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué[1],— и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось, это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

— Что вы здесь делаете? — крикнул он на них.

— Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели,— отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

— То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! — подумал он, спотыкнувшись,— непременно убьют»,— и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

— Вишь, какой бравый! — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу рас-

---

[1] Извините, государь, я убит (*франц.*).

чел, что осколки ее не могут задеть в траншее,— и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

— Что вы так запыхались? — сказал генерал, когда он ему передал приказания.

— Шел скоро очень, ваше превосходительство!

— Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал N., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

— А вот я рад, что и вы здесь, капитан,— сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны.— Мне генерал приказал узнать,— продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом,— могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

— Одно только орудие может,— угрюмо отвечал капитан.

— Все-таки пойдемте посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

— Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного,— сказал он,— нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам всё покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей,— и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» — подумал он.

— Ну, так я пойду один, если вы позволите,— сказал он не-

сколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие — желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это — сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

— Ротмистр Праскухин! — сказал генерал.— Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

— Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

10

— Это второй батальон М. полка? — спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

— Так точно-с.

— Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

— Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву,— говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело,

Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардированья из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

— До свиданья,— сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около брустверa,— счастливого пути!

— И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна — хоть глаз выколи,— только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: «Господи, господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-ушка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Черт возьми! как они тихо идут,— думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова,— право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет — пойду рядом».

«И зачем он идет со мной,— думал с своей стороны Михайлов,— сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным,

который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы,— тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что «это прямо сюда».

— Смотрите, капитан, это прямо сюда,— сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан»,— подумал он, входя в двери блиндажа.

— Ну, что новенького? — спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

— Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет.

— Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть,— подумал Калугин,— но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной chair à canon» [1].

— И в самом деле, я их лучше тут подожду,— сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

11

— У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? — спросил его Калугин.

— Ах, братец, ужасно! можешь себе представить...— И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит

---

[1] Пушечное мясо *(франц.)*.

и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

— Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналий. Когда я крикну «ура!» — за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

— Как фамилия нашего ротного командира? — спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним.— Какой он храбрый!

— Да, как в дело, всегда — мертвецки,— отвечал юнкер,— Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка,* и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

— Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добраться,

тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! — заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая — приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то — это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «*Коли его! что смотришь?*» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu!»[1] — закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза.

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

— А я заколол одного! — сказал он батальонному командиру.

— Молодцом, барон...

. . . . . .

12

— А знаешь, Праскухин убит,— сказал Пест, провожая Калугина который шел к дому.

— Не может быть!

— Как же, я сам его видел.

— Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен,— думал Калугин, возвращаясь к дому,— в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело, я — жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою

---

[1] О господи! *(франц.)*

комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «Splendeur et misères des courtisanes» [1], которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно,— с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового: «Маркела!» — и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом,— бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил,— может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир

---

[1] Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом,— и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе — меня».

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбленье, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет»,— подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в средину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! Я только контужен»,— было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди,— но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер»,— думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди,— это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал»,— подумал он, и все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня»,— но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах,— и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже,

камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванною. Он мысленно молился богу и все твердил: «Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу,— вместе с тем думал он,— и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет — то будет убит. «Все кончено! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит,— подумал он,— что будет *там?* Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно,— рассуждал он,— что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

— Давай носилки — эй! ротного убило! — крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье — страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову

своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного.— Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня,— шепнул ему какой-то голос,— а с раной остаться в деле — непременно награда».

— Не нужно, братец,— сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда,— я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

— Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует,— сказал робкий Игнатьев,— ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один — с бакенбардами — сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться.

«Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь»,— подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

— А где ординарец Праскухин, который шел со мной? — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

— Не знаю, убит, кажется,— неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

— Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

— Где тут было брать, когда жарня этакая!

— Ах, как же вы это, Михаил Иванович,— сказал Михайлов сердито,— как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять,— как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

— Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел,— сказал прапорщик.— Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать,— прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно заболела у него.

— Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив,— сказал Михайлов.— Это наш *долг*, Михайло Иваныч!

Михайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить задаром»,— думал Михайлов.

— Ребята! Надо сходить назад — взять офицера, что ранен там, в канаве,— сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье,— и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

— Унтер-офицер! Поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой *долг*»,— сказал сам себе Михайлов.

— Михал Иваныч! Ведите роту, а я вас догоню,— сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться,— подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его,— это поможет к представленью».

14

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей — с проклятиями и молитвами на пересохших устах — ползали, ворочались и стонали,— одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пунк-

та; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

15

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главною путеводительною нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

— Нет, извините,— говорил полковник,— прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

— А может быть,— отвечал Калугин,— *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

— Да уж, верно, Калугин знает,— сказал полковнику князь Гальцин,— ты знаешь, *мне* нынче *В...* про тебя говорил, что ты молодцом.

— Потери только, потери ужасные,— сказал полковник то-

ном официальной печали,— *у меня в полку четыреста человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

— Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu [1],— улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

— Что, вы ранены, капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? каков я?»

— Да, немножко, камнем,— отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел, и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

— Est-ce que le pavillon est baissé déjà? [2] — спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

— Non pas encore [3],— отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

— Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря,— как это показалось штабс-капитану,— что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами — с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти,— сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades, auraient été reprises» [4], и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vour donner un démenti [5], и как хорошо он сказал и т. д.

---

[1] Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем *(франц.)*.

[2] Разве флаг уже спущен? *(франц.)*

[3] Нет еще *(франц.)*.

[4] Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты *(франц.)*.

[5] Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить *(франц.)*.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel régiment êtes-vous?»[1] Ему отвечали — и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux ce sacré c.....»[2],— сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

— А я его не узнал было, старика-то,— говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевитым лицом и вывернутыми зрачками,— под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между людьми от этого человека. . . . . .

16

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб

[1] Какого вы полка? *(франц.)*

[2] Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... *(франц.)*

его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

— Э сеси пуркуа се уазо иси? — говорит он.

— Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impérial.

— Э ву де ла гард?

— Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

— Э сеси у аште? [1] — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

— A Balaclave, monsieur! C'est tout simple — en bois de palme [2].

— Жоли! — говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez [3].— И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

— Табак *бун*,— говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc,— говорит француз,— et chez vous tabac russe? bon? [4]

— Рус бун,— говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху.— Франсе нет бун, бонжур, мусье,— говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.

---

[1] — Почему эта птица здесь?

— Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.

— А вы из гвардии?

— Нет, извините, сударь, из шестого линейного.

— А это где купили? *(франц.)*

[2] В Балаклаве. Это пустяк — из пальмового дерева *(франц.)*.

[3] Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече *(франц.)*.

[4] Да, хороший табак, турецкий табак,— а у вас русский табак? хороший? *(франц.)*

— Ils ne sont pas jolis ces bêtes de russes [1],— говорит один зуав из толпы французов.

— De quoi de ce qu'ils rient donc? [2] — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

— Кафтан бун,— говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

— Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom..... [3] — кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur [4],— говорит французский офицер с одним эполетом,— c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons [5].

— Il y a un Sazonoff que j'ai connu,— говорит кавалерист,— mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.

— C'est ça, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour [6],— говорит он, кланяясь.

— N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas? [7] — говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

— Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

— Il faut avouer que les vôtres ne se mouchent pas du pied non plus [8],— говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

---

[1] Они некрасивы, эти русские скоты *(франц.)*.

[2] Чего это они смеются? *(франц.)*

[3] Не выходите за линию, по местам, черт возьми... *(франц.)*

[4] Графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь *(франц.)*.

[5] Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим *(франц.)*.

[6] — Я знал одного Сазонова,— говорит кавалерист,— но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.

— Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур *(франц.)*.

[7] Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? *(франц.)*

[8] — О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие — драться с такими молодцами!

— Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются *(франц.)*.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme [1]) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и огра-

[1] Храбростью дворянина (*франц.*).

ниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда.

1855 года, 26 июня.

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой [1] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке — спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены, так называемой талии — перехвата в середине туловища — у него не было, но и живота тоже не было, напротив — он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы,— но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько.

---

[1] Последняя станция к Севастополю. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

— А это с нашей роты солдатик слабый,— сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о,— отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбородие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие,— прибавил он протяжным голосом и надевая шапку,— уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уж делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

— Как же! очень буду слушать, что *Москва*[1] болтает! — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардированья.— *Смешная эта Москва*... Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! — прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше,— сказал офицер.

[1] Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга*. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

2

Уже въезжая в улицу развалённых остатков каменных стен татарских домов Дуванкóй, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях развалённого забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далече идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

— В роту идем из губерни,— отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной.— Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

— В городу, брат, стоит, в городу,— проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе.— Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

— Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! — И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

— Никто, как бог, господа! Прощенья просим! — сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Все одно,— пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок,— видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих,— а я вам не запрягусь же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель,— говорил с запинками другой, молоденький офицерик,— нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадой старший.— Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж,— совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным,— уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они

смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то, чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами,— сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать»,— перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

4

— Однако это ужасно как досадно,— говорил один из молодых офицеров,— что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

— Поспеете еще, поверьте,— сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

— Как же мы решим,— сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке,— ночуем здесь или поедем на *своей* лошади?

Товарищ отказался ехать.

— Вы можете себе представить, капитан,— продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот,— нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

— Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь,— сказал Козельцов.

— Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию,— говорил словоохотливый офицерик,— только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— А в Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов.

— Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

— А вы тоже из Севастополя? — продолжал он.— Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые,— у нас денег совсем не осталось,— сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища,— так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет,— отвечал он шепотом,— только нам обещали тут дать.

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; но мне в Москве сенатор один — он мне дядя,— как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут,— сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

5

— Да как же не дать,— сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям.— Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

— Неужели третий месяц? — спросил кто-то.

— А что прикажете делать,— продолжал рассказывающий.— Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет,— когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись — все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в ко-

торых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более — патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим — и обжитым местом, и квартеркой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу,— он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошенья он *по команде* получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей,— он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванко́й он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

— Кто борщу требовал? — провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

— Ах, это Козельцов спрашивал,— сказал молодой офицер,— надо его разбудить. Вставай обедать,— сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

— Не узнаешь? — сказал он, улыбаясь.

— А-а-а! — закричал меньшой брат.— Вот удивительно! — и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

— Ну, как я рад! — сказал старший, вглядываясь в брата.— Пойдем на крыльцо — поговорим.

— Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон,— сказал он товарищу.

— Да ведь ты хотел есть.

— Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшой все спрашивал у брата: «Ну, что ты, как, расскажи»,— и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минуть пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как это все *наши* ожидали.

— Ах, да! — отвечал меньшой, краснея при одном воспоминании.— Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить,— знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было,— только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь — а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спу-

стил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведенье, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

— Вот как!

— Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют,— так что ж делать!

— Вот ты какой! — сказал брат, улыбаясь.

— А главное, знаешь ли что, брат,— сказал меньшой, улыбаясь и краснея, как будто сбирался сказать что-нибудь очень стыдное,— все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть,— прибавил он еще застенчивее.

— Какой ты смешной! — сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него.— Жалко только, что мы не вместе будем.

— А что, скажи по правде, страшно на бастионах? — спросил вдруг младший.

— Сначала страшно, потом привыкаешь — ничего. Сам увидишь.

— А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

— Бог знает.

— Одно только досадно,— можешь вообразить, какое несчастие: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов-второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках; на белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастия, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами,

весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом,— это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрел на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т. д.,— он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

7

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которые часто испытываешь: что общего мало, хотя и любишь друг друга,— братья помолчали довольно долго.

— Так бери же свои вещи и едем сейчас,— сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил он после минуты молчанья.

— Ну да, ведь у тебя немного вещей; я думаю, уложим.

— Прекрасно! сейчас и поедем,— сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад — ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал,— и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

— Сейчас, сейчас я выйду,— заговорил он, махая рукой брату.— Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

— Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат,— сказал он.

— Как? Что за вздор!

— Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

— Много ты должен? — спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

— Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

— Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? — сказал строго, не глядя на брата, старший.

— Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

— Вот мои деньги,— сказал он.— Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов-второй, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкóй двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил,— думал меньшой,— разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой — молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы — небольшие, но порядочные вырастут к тому времени,— и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта.—Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать,— продолжал он,— нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем,— продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко,— и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой,— и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и — кончено, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете,— я скажу,— и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет,— сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу,— только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу

только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!» — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

— Что, ты был когда-нибудь в схватке? — спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

— Нет, ни разу,— отвечал старший,— у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

— Ты на меня не сердишься, Миша? — сказал он после минутного молчания.

— За что?

— Нет — так. За то, что у нас было. Так, ничего.

— Нисколько,— отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

— Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

— Неужели это уж Севастополь? — спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* — дощатых бараков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна,— как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель — комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счеты казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность — от жидких масленых волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

— Денег-то, денег-то! — сказал Козельцов-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций.— Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

— Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? — сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

— Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

— Садитесь, господа,— сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в палатку.— Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? — сказал он оттуда.

— Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежною манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный»,— подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же наш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер все из палатки.

— А пожалуй, выпью,— сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатьевич? — продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру.— Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаете ко мне! я не сплю,— отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах *л* и *р*.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

— Да, батюшка,— сказал обозный офицер, наливая стаканы,— нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

— Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколенье,— сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколенье! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так ка́к кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжал-

ся уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола.— Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер.— Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

— Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему.— Еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной»,— подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя,— продолжал он, обращаясь все к Володе.— И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

— Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом.— Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем,— сказал он, указывая на коробочку с музыкой,— я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

— Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез...— И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

10

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими,— и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки.— Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк — узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем,— сказал Володя.— И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...

— Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

— Кто идет?

— Солдат!

— Не велено пущать!

— Да как же! Нам нужно.

— Офицера спросите.

Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

— Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! — крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

— Когда он амунишные получил, значит, он в расчете сполностью — вот что...

— Эк, братцы! — сказал другой голос.— Как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

— Говори больше! — сказал первый.— Намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала,— так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне; впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михаил Семеныч! — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова,— что, уж совсем поправились?

— Как видите. Куда вас бог несет?

— На Северную за патронами: ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

— А где же Марцов?

— Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место М...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть — вас проводят.

— Ну, а квартерка моя на Морской цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трakти-

ров, ни музыки; вчера последнее заведенье переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн,— казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь»,— подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

— Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! — сказал он шепотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя,— сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост.— Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

11

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощ-

но смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая.— Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Гм! Проводите их,— сказала она молодой сестре, по-французски,— вот сюда,— а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых.— Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, боже мой! Ах, боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, боже мой! Когда это все кончится! — сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

— Ну что, как вам? — спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку.— Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

— Разумеется, больно,— сердито сказал он.— Оставьте, мне хорошо! — И пальцы в чулке зашевелились еще быстрее.— Здравствуйте! Как вас зовут, извините? — сказал он, обращаясь к Козельцову.— Ах, да, виноват, тут все забудешь,— сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию.— Ведь мы с тобой вместе жили,— прибавил он без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и *полный* выслужил,— сказал он, морщась.— Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить,— сказала шепотом сестра, со слезами на глазах,— уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности, и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь.

— Только как ты найдешь, Володя? — сказал старший.— Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

12

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы, около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. «Убьют, буду мучиться, страдать,— и никто не заплачет!» И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увидал, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

— Вишь, не задохлась! — сказал Николаев.

— Да,— ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким-тоненьким, пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые

проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, вгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете»,— подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.

— Потому, коли бы он был блаародный чуаек,— пробормотала она,— пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом:

— Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так, чуть маломальски ранены, живут себе в ошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, коли брат уж здоров теперь,— отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

— Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен! Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные есть, живут в ошпитале в этакое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городу, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь — молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзанкнет! — прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка.— Вот теперича,— продолжал Николаев,— велел ваше благородие проводить. Наше дело известно: что приказано, то должен сполнять; а ведь главное — повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из именья пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

— Вот антилерия ваша стоит, ваше благородие! — сказал он вдруг.— У часового спросите: он вам покажет.— И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось,— ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посереди площади, оглянулся:

не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.

13

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее.

Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами — фельдфебель,— в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет сорока, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

— Честь имею явиться, прикомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй,— проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.

— Да,— сказал он, останавливаясь против фельдфебеля,— ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь все подешевле овес стал,— отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору.— А еще фуражир наш Францук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить,— говорят, дешевы,— так как изволите приказать?

— Что ж, купить: ведь у него деньги есть.— И батарейный командир снова стал ходить по комнате.— А где ваши вещи? — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

— Где бы нам поместить прапорщика?

— Прапорщика-с? — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошенным на него взглядом, выражавшим как будто вопрос: «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?» — Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие,— продолжал он, подумав немного,— теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

— Так вот, не угодно ли-с покамест? — сказал батарейный командир.— Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

— Не угодно ли чаю? — сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери.— Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его было за солдата.

— Петр Николаич! — сказал денщик, толкая за плечо спящего.— Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер,— прибавил он, обращаясь к прапорщику.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу,— пробормотал он.

14

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное — самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батарейного командира.

«Впрочем, ежели и прилетит,— подумал он,— то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» — вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при неперестающих, заставлявших дрожать стекла в единственном окне звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами, молящаяся перед чудотворной иконой,— и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, господи,— думал он,— поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет,— дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и бес-

печно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти,— от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

15

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

— Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть,— сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее,— пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается,— на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик.— Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канав-

ке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу.— И матрос вошел в дверь.

Два голоса говорили за дверью.

— Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет,— говорил один голос,— то Австрия тоже...

— Да что Австрия,— говорил другой,— когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». «Странно,— думал Козельцов, глядя на своего командира,— только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем — в его одежде, осанке, взгляде — видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли,— думал он,— этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука, десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит,— все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе,— и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».

— Вы долгонько лечились,— сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

— Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

— Так вы напрасно приехали,— с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник.— Вы можете, однако, исполнять службу?

— Как же-с, могу-с.

— Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

— Слушаю-с.

— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта,— заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее — субординация — только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе,— она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противуположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону,— уже за ней, большею частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.

16

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Брустверa из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге,— все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много

было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

— «Страх... смер-ти врожден-ное чувствие чело-веку».

— Снимите со свечки-то,— сказал голос.— Книжка славная.

— «Бог... мой...» — продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.

— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова.— Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу! А то мы без вас соскучились.

Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч», и т. п., некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.

— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов.— Цел? — Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.

— Здравия желаем! — загудело в блиндаже.

— Как поживаете, ребята?

— Плохо, ваше благородие: одолевает француз,— так дурно бьет из-за шанцов, да и шабаш, а в поле не выходит.

— Авось на мое счастье, бог даст, и выйдет в поле, ребята! — сказал Козельцов.— Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

— Ради стараться, ваше благородие! — сказало несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно

было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

17

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — послышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет.— Денег пропасть, я чай, привезли.

— Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

— Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.

— Право, мало,— сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

— Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.

— Нет, не везет,— сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

— Потрудитесь прислать,— сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него.

— Позвольте завтра прислать,— отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дометал талию.— Однако этак нельзя,— сказал он, положив карты,— я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч,— прибавил он,— мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь.— Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу,— сказал банкомет,— когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь.— Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.

Потный офицер вдруг разгорячился:

— Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеете мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора.— Оставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит,— дерзости? Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса.— Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубокогрустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но

одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко,— придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

18

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблагоразумные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смеш-

ное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили *Влангу*, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый красивый бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо,— чего-то в нем недоставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату.— Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

— Я уж приказал себе чайку поставить,— отвечал он,— а водочки покамест хватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать,— сказал он Володе, который, встав, поклонился ему,— штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении,— ее подкладывать надо.

— Ну что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

— Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера *починили*. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

— Что, Дмитрий Гаврилыч,— сказал он, потрясая капитана за коленки,— как поживаете, батюшка? Что ваше представленье[1], молчит еще?

[1] То есть представление к чину или ордену.

— Ничего еще нет.

— Да и не будет ничего,— заговорил Дяденко,— я вам доказывал это прежде.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что не так написали реляцию.

— Ах вы, спорщик, спорщик,— сказал Краут, весело улыбаясь,— настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.

— Нет, не выйдет.

— Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте,— обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

19

— Ну, как? вы уж устроились у нас? — спросил Краут у Володи.— Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

— Нет,— сказал Володя,— я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

— Аполлон Сергеич-то? — Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана.— Вряд!

— Что ж, откажет — не беда,— сказал капитан,— тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

— Как! вы его не знаете,— вмешался Дяденко,— другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?..

— Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

— Оттого противоречу, что я знаю, он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.

— Как нет расчета, когда ему здесь по восемь рублей овес обходится! — сказал Краут.— Расчет-то есть не держать лишней лошади!

— Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч,— сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута,— отличная лошадка!

— С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга? — засмеялся штабс-капитан.

— Нет, да что же вы говорите, по восемь рублей овес,— про-

должал спорить Дяденко,— когда у него справка по десять с полтиной; разумеется, не расчет.

— А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

— Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарнчика кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь.

— Поживем, посмотрим,— сказал штабс-капитан.— И вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть,— прибавил он, указывая на Володю.

— Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? — вмешался Черновицкий.— Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?

— Нет-с, уж я... извините меня, капитан,— покраснев до ушей, сказал Володя,— уж я это считаю неблагородно.

— Эге-ге! Какой он бедовый! — сказал Краут.— Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.

— Да это все равно; я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек,— начал более серьезным тоном штабс-капитан.— Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная [1] цена пятьдесят, и требуют,— это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас много выходит, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное,— подхватил капитан, молчавший все время,— вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет сперва на двух, а потом на трехстах рублях жалованья в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комисьонеры в неделю десятки тысяч наживают?

[1] То есть казенная.

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан.— Вы не торопитесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

— А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтоб он вина поставил,— сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану.— И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

— Да вы сами скажите,— отвечал капитан.

— Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

20

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

— Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим! Прапорщики не пьют,— прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только графин воды, с отбитым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить сам батарейный командир; потом разговор, естественно, перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтоб еще гово-

рить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застлало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали; а здесь часто бывают такие сюрпризы,— сказал батарейный командир.— Посмотрите, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок, батарейный писарь, вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. «Вот этот *весьма нужный*, сейчас казак привез от начальника артиллерии». Все офицеры невольно с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда *весьма нужную* бумагу. «Что это могло быть?» — делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

— Опять! — сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергеич? — спросил старший офицер.

— Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего четыре человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит,— ворчал батарейный командир,— а тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа,— сказал он, помолчав немного,— приказано в семь часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же идти, господа, решайте,— повторил он.

— Да вот они еще нигде не были,— сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

— Да, я бы желал,— сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

— Нет, зачем! — перебил капитан.— Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Аполлон Сергеич предоставляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае попросить вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то, Черновиц-

кий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить,— взял другой, поменьше и потолще, и, развернув, прочел на нем: «Идти».

— Мне,— сказал он, вздохнув.

— Ну, и с богом. Вот вы и обстреляетесь сразу,— сказал батарейный командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика.— Только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

21

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые «Отечественные записки», и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по *«Руководству»*[1] о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и, еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебояться. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и дожидаются.

— Я *Вланге* список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие! — сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь, или просто сказать: «Здорово, ребята!», или ничего не сказать? — подумал он.— Да и отчего ж не сказать: «Здорово, ребята!» — это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голоском: «Здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, под-

[1] Руководство для артиллерийских офицеров, изданное Безаком. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

нимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях.) Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер; как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в «Руководстве»; как ранили двух солдат его *команды* и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастию, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами. Вланг, первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из

которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закурив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню — трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

22

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее — два фейерверкера: один — седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой — молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились *покорные*. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

— Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? — сказал один голос.

— Такие песни играют чудны́е, что в деревне никогда не слыхивали,— сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

— А не любит Васин бомбов, ох, не любит! — сказал один из аристократического угла.

— Что ж! когда нужно, совсем другая статья! — сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали.— Двадцать четвертого числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

— Вот Мельников — тот небось все на дворе сидит,— сказал кто-то.

— А пошлите его сюда, Мельникова-то,— прибавил старый фейерверкер,— и в самом деле убьет так, понапрасну.

— Что это за Мельников? — спросил Володя.

— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на *ведмедя* похож.

— Он заговор знает,— сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

— Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя.

— Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь,— меня из бомбы не убьют, я знаю.

— Так ты бы захотел тут жить?

— А известно, захотел бы. Тут весело! — сказал он, вдруг расхохотавшись.

— О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

— А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

— Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? — послышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин *про́стый*, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще — как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафу платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормо-

тал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа — посмотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал; и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-убедительным тоном.— Ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий — особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

— Кто этот черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и недвижно, стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие,— сказал он, возвратившись,— погребок пробило бомбой, так пехотные землю носют.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа. Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляют орудий и куда ложатся их снаряды.

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь,— говорил один из них,— так по замиренье всем в отставку срок выйдет.

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять месяцев простоял в Сивастополе.

— К отставке не считается, слышь,— сказал другой.

В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударилось от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

— Чуть не убило Мельникова,— сказал один.

— Не убьет,— отвечал Мельников.

— Вот на же тебе хрест за храбрость,— сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову.

— Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается,— на то приказ был,— продолжался разговор.

— Как ни суди, биспримено по замирении исделают смотр царский в *Аршаве*, и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударилась о камень.

— Смотри, еще до вечера *вчистую* выйдешь,— сказал один из солдат.

И все засмеялись.

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время *свое хозяйство*, по его выражению, как он ни привык в восемь месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: «Первое, второе!» — и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

24

По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с од-

ной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг, беспрестанно, с молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уже совсем не отвечает,— сказал гусарский офицер, сидевший верхом,— весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один,— отвечал тот, который смотрел в трубу.— Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

— Что там? что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

— Да и так видно,— сказал моряк,— идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки — все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой задыхаясь, отходя от трубы,— французское на Малаховом!

— Не может быть!

25

Козельцов-старший, успевший отыграться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном, в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

— Тревога!..

— Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! — крикнул ему чей-то голос.

— Верно, школьник какой-нибудь,— сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидал свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же.

Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца [1],— сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга.— Все пропало!

— Вздор,— сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!

[1] То есть редут Шварца, укрепление между четвертым и пятым бастионами.

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали — контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидал в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только напиться чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась,— отвечал священник, говоривший на о, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

— Слава богу, слава богу,— проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновенье в его голове. «Дай бог ему такого же счастия»,— подумал он.

26

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «Французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже — кажется, Мельников — шутливо сказал:

— Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой*, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» — подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» — крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» — командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал

вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на бруствере синие мундиры и даже один, спустившись, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулею подле него, и Вланга, схватившего вдруг в руки хандшпуг [1] и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! За мной! Пропали!» — кричал отчаянный голос Вланга, хандшпугом махавшего на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! Что вы стоите! Бегите!» — подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочивши в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

27

Вланг нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа двадцати солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом и втором бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно, глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе; из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шалан-

---

[1] Ха́ндшпуг — рычаг для поворота орудий или поднятия грузов.

де, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услыхали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга*-то наш,— сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли,— продолжал он, вздыхая,— и сколько там нашего брата пропало; а ни за что французу досталось!

— По крайности, сами живые вышли, и то слава ти господи,— сказал Васин.

— А все обидно!

— Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит император — и отберут! Разве наши так оставят ему? Как же! На́ вот тебе голые стены, а шанцы-то все повзорвали. Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок,— заключил он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов,— на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно дви-

галось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев,— от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

27 декабря. Петербург.

МЕТЕЛЬ

I

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского[1], около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя[2] не

---

[1] Так назывались земли донских казаков, входящие теперь в Ростовскую область.

[2] Имеется в виду станционный смотритель, начальник почтовой станции, где проезжающие получали лошадей за установленную плату.

ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что́, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А бог знает,— отвечал он мне, не поворачивая головы,— вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довезти до станции или нет? — продолжал я спрашивать.— Доедем ли?

— Должны доехать,— сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему, лучше бы воротиться,— сказал мне Алешка,— плутать-то что́ веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Что? куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну что? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего,— сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что ж делать! поедем куда бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что, как ты думаешь,— спросил я опять ямщика,— доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад,— сказал я,— и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадысь так-то в заметь обратные с той станции поехали,— сказал он,— да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзали — холод был. И то один ноги позаморозил, так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало,— сказал я,— можно бы ехать?

— Оно тёпло-то, тёпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер[1] али что, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II

В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский,— сказал мой ямщик,— один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение: три колокольчика —

[1] То есть курьер.

один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит,— сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами.— А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне,— люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении,— как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» — но голос мой — я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани,— саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» — тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тёпло,— сказал он,— а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад,— сказал я, усевшись в сани.— Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу, Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит,— на людей. Черт! — принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик; старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого, так не поймаешь,— послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, влез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймает! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей.— Уж коли к лошадям не пошла, значит — оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто

веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до рождества недостает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по сто двадцать рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, да «кульеры оченно звери, да и народ здесь всё ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет,— повторял богобоязненный мужичок.

— А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах.— Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою,— прибавил он,— так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю,— отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем,— заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что несмотря на то, что он был очень трусоват,— на миру и смерть красна,— он совершенно стал спокоен

с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном.— Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними,— сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно за-

крывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно,— это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка *затишку*, сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикиванье и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то.— Или: — Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит,— как раз выедешь.— Или: — Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак.— Или: — Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

— А наши лошади в заметь передом не пойдут,— крикнул он,— не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел, знай!

— Как же! небось поштальон в прошлом году до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а Филипп! — И, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, средь голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, черт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич,— крикнул сказочник из вторых саней,— жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнеденькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту,— кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзлому черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистыванье Игната и заливистый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно

нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами,— думаю я,— вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит не переставая:

— На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни,— робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? — рассуждал я,— думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бегает по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного

самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня, на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх; глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями,— и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе»,— чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти,— говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло.— Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Тону, батюшки!» — и опять ушел на низ, только пузырики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом,— что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук.— Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то,— говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмурив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескиванье по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружней, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы,— говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно

слышный средь мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи дружней, на сухое тащи! — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась и как, проходя по плотине, я снова услыхал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валек этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю — этот валек есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валек этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет,— я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика,— возьми седока — тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

— А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку — уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос,— лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Кла́ди много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава богу! а то что это, господи-батюшка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью. Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку:

— В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не полюбовник; а полюбовник мой есть тот самый принц...» В то самое время...— продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки,— по крайности не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

— А кто е разберет, где? може, и к калмыкам заехали вовсе,— отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь, и выедем,— сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты, никак, боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится,— сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы, как я: нет-нет да и пробегись,— оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за саньми,— сказал советчик.

VII

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай бог вам, барин...» — и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрикиванья и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валяные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее:

уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту,— и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице,— и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — послышался голос советчика,— постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что?

— Да что! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик,— вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил,— а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился,— советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звез-

дам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колено в снегу.

— Есть-то есть, кочевье видать,— отвечал, задыхаясь, Игнат,— да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левей брать.

— И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы,— возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правей забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь,— сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII

«Неужели это я уже замерзаю,— думал я сквозь сон,— замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, все это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство.— Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится,— мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носи-

лись передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун,— кричит он,— ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу,— и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то орга́на, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно́. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на пере-

док и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил,— отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я,— доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим,— отвечал он.— Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

X

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой сторо-

ны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впалому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась, верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата; но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик со стаканом вина в руках и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло, ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее,— сказал я.

— В одну минутую,— отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат,— сказал он, снимая с правой руки и бросая

на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый русый мужик с козлиной бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валяные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо, стараясь согреться.

— Что́ ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно,— сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин,— сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь,— всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что,— прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал осклаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца

завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень шибко. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотницким колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку, старичок, задрав ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили-таки, барин! — сказал он.

11 февраля 1856 г.

ТРИ СМЕРТИ

I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая—горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, не-

сколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять,— сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии.— Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! — Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это? — спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски,— не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое,— отвечала больная.— Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать,— слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет,— прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции.— Им хорошо, так и все равно. О! боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович,— сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки,— я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно,— отвечал доктор.

— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил: она не может доехать не только до Италии,— до Москвы дай бог. Особенно по этой погоде.

— Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой! — Муж закрыл глаза рукою.— Подай сюда,— прибавил он человеку, вносившему погребец.

— Оставаться надо было,— пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать? — возразил муж,— ведь я употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах,— она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении — ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути,— сказал доктор, значительно покачивая головой,— а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша! — визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце,— пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от груд-

ной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову.— Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая! — поддакивала Аксюша.— Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала,— думала больная.— Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос,— подумала больная,— а сам ест!»

— Ничего! — пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда, по крайней мере, дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома? — вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду,— сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова.— Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же

осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

. . . . . .

II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор,— сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и оборачиваясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков,— вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить; свои избил,— отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом.— Аль спит? А дядя Хведор? — повторил он, подходя к печи.

— Чаво? — послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе.— Дай испить, брат; ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя,— сказал он, переминаясь,— тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.

— Може, ты кому пообещал уже,— сказал парень,— так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны,— неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка,— второй месяц с печи не слезает. Вишь, надры-

вается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди садись, господа ждут,— крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега,— сказал он, подавив кашель и отдохнув немного.— Только, слышь, камень купи, как помру,— хрипя, прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вот, ребята, слышали,— мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали,— сказал один из ямщиков.— Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эк сапоги важные! дай помажу,— сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи.— Даром отдал?

— Аль завидно,— отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка.— Пущай! Эх вы, любезные!— крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали,— больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

— Ты на меня не серчай, Настасья,— проговорил больной,— скоро опростаю угол-то твой.

— Ладно, ладно, что ж, ничаво,— пробормотала Настасья.— Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

— Нутро все изныло. Бог его знает что.

— Небось и глотка болит, как кашляешь?

— Везде больно. Смерть моя пришла — вот что. Ох, ох, ох!— простонал больной.

«ТРИ СМЕРТИ»

— Ты ноги-то укрой вот так,— сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

— Чудно́ что-то я нынче во сне видела,— говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро.— Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликался.

— И то, не помер ли? Пойти посмотреть,— сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойти смотрителю сказать, кажись, помер,— сказал ямщик.

Родных у Федора не было — он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стоял муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка — мать больной — и горько плакала.

Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вами, мой друг,— говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери,— она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же.— Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь, кажется, я не заплакана,— сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.

— Боже мой! Боже мой! — сказал муж.

— Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились.

— И матушка тут! — почти с отчаяньем сказал муж.— Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

— Точно-с, материнское сердце никто оценить не может,— сказал он,— однако бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

— Бог милосерд,— продолжал священник, когда она успокоилась немного.— Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу— можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жить,— проговорила старушка,— чем бы меня, а ее бог берет.— И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

— Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.

— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

— Это она будто бы вороная, папаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

— Ах, мой друг,— сказала она, неожиданно перебивая ее,— не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть,— даже наверно,— была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страданья...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись,— сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласья.

— Боже! прости меня, грешную,— прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах.

Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Чрез пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оне спокойнее теперь,— сказал он,— желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг,— сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю,— говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах.— Как бог милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу,— сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать!..— И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня,— говорила больная,— это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются,— гласил псалтырь,— возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

— А грех тебе будет, Серега,— говорила раз кухарка на станции,— коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить, не купишь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь,— отвечал Серега,— я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хошь крест поставил, вот что,— отозвался старый ямщик,— а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь?

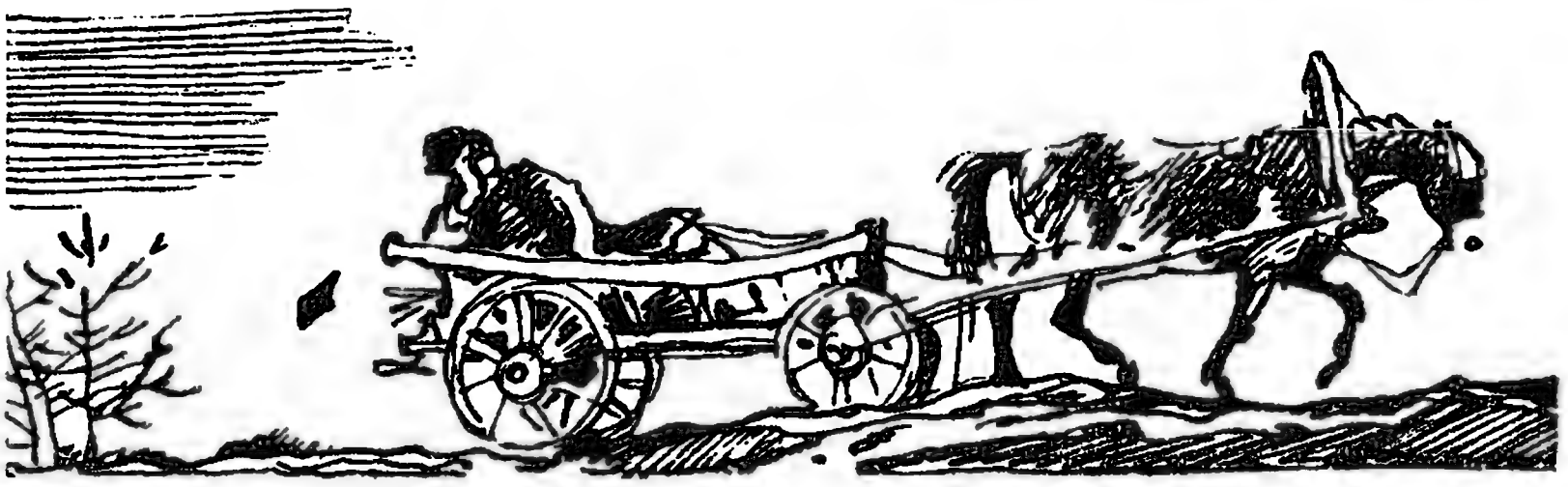
— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.



ПОЛИКУШКА

I

— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти,— говорил приказчик,— и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «Хорошо, хорошо»,— на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самою судьбой,

по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшегося в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых»,— говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута»,— вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович уставился спокойно, даже прислонился незаметно к притолоке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крякнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время, как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовою речью отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думала, Егор,— прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необстоятельности, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала,— не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов,— сказала она,— я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того, чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликея я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно быть, с горечью»,— подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не бог: «Ну да все равно, не в том дело»,— подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила,— она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуняша?

— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михалыча, прикажут ли дожидаться сходке? — сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик,— подумала она,— растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор,— сказала барыня,— делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Тятенька от поясницы лежит,— сказала Дуняша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликея пошли,— сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с,— и Егор Михайлович пошел в контору.

II

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол*

у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. *Углы* еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим — взлезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепадало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепадали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что,— все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно все достается и жить приятно бывает, да

вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за все разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставлял, и все шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, говорит, человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять»,— рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала невеселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки

навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то, что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спущать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом под брюхом дворниковой лошади передернул покромку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие, засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом,— мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю* и т. п., разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? Wage du zu irren und zu träumen! [1] — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

---

[1] Дерзай заблуждаться и мечтать! *(нем.)*

III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то, что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его, несомненно, первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это,— говорил он,— не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет»,— сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания; но, увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» — подумала она и опять принялась прясть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

— Анютка,— крикнула она,— видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

— Нате, тятенька,— сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

— Сто толкаесся,— пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

— Я вас! — проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст,— проговорил Поликей, затыкая бутылку,— вылечу лошадь. Еще дешево,— прибавил он.— Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка — так звали девочку — всегда летала, как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались, как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня велела Поликею Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупу ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменять не станешь?

— Не,— сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала,

и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

— Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столяровой жены из-за перегородки.

Столярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней розлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят послать,— продолжала она.— Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столяровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамуска, ты меня сплюссила,— проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

— Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столяровой жене, не забывшей еще про утренний щелок.

IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал. Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столяровой жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем звала?

— Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велела ехать.

— Деньги везть? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечанье, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит, вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу все изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублев,— небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь какую хочешь, зайди в контору и ступай с богом.

— Слава тебе, господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь.— Помоги тебе бог, Ильич,— прибавила она шепотом, чтобы не слыхали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи.— Ильич, слушай меня, Христом-богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнул он.— Уж как там в фортепьян играл кто-то ловко, беда! — прибавил он, помолчав и усмехаясь.— Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

V

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику,— думала она,— по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и нападал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его бы сравняли с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова, но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный, был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буй-

ный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен и со всей высоты своего роста, всею силой своего звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один с добродушнейшею рожей и окладистою русою бородой, Храпков, все приговаривавший: «Друг ты мой любезный»,— и другой, маленький, с птичьею рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «Выходит, братцы мои»,— обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцевитым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен

в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был,— говорил Резун,— так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрили, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили,— в одно и то же время говорил Дутлов,— да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделились. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по-божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбрешет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

— Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и закон,— сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православный,—говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова,— надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

— Надо по совести судить, друг ты мой любезный,— говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп,— на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный брешет? — возражал Резун.— Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином уко-

рять станет? Что, братцы, надо решенье сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать,— заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели,— сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро он опять загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл,— смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал Резун.

— Нет, ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденой лошади, до мешка с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят»,— а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

— Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? — послышались голоса деленных, и болтуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги сосчитал, видно,— проговорил он злобно.— Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нэм троих надо. По-настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению,— продолжал Егор Михайлович,— Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти,— это уж сам бог велел.

— Так точно, верно,— сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову,— заговорили голоса,— Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Покажь сюда,— сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принесть к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив,

что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик,— сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом,— на тебе чередь. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать,— ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не греши,— сказал он,— а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губерни? — спросил Дутлов, под *губерней* разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришлю, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что, избави бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно,— сказал он, помолчав,— как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай,— сказал Егор Михайлович,— ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигеря» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик езжал), запряженная ширококостым гнедым мерином, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, не-

смотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В *угле* происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стряпню в печи и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери,— Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе — той иголок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку, и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальною иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана,— кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и *тухли*, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «плокатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своей слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. По-

ликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятерился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже,— он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублев. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублев повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то, что у него были деньги,

данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпряг, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничего не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, шапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее и, наконец, со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублев уступил»,— сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно,— так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

VIII

Около полуночи и купцовы работники и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо, выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать,— отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке.— Посылай за водкой.

— Будет те водки-то,— отвечал староста мельком и снова обратился к другим: — Так хлебца закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай,— повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». Вдруг он увидал Поликея.

— Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты упекли. Поставь водки.

— Денег нет,— отвечал Поликей.— Еще, бог даст, затылок,— прибавил Поликей, утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился:

— Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так,

ни за что погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей.— То ничего не слыхать было, а то вдруг...

— Вишь, боятся, чтоб я над собой чего не сделал,— отвечал Илюшка, улыбаясь.— Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили?— говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий,— сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику,— нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал: так обычно просто, мирно и озабоченно хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебая из чашки.— Видишь, люди поели, да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил,— обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнованием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Вина дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста кротко,— право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясался, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, каза-

лось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатым кулаком к Дутлову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь пьешь, кровопийца!

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром,— проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился,— встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

— Говорил, хуже будет,— сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясок рубахи,— что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк,— прибавил он, обращаясь к дворнику,— а то голова затечет,— и сам взял фонарь, подпоясался веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутою рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибаю,— повторил Илья с сухою злобой.— Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

— Разе не жалко? Брата ро́дного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним изделали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

— Ох, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи моей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

— Присылай-ка, ладно,— сказал староста, встал и полез на печку.— Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них,— отозвался Дутлов.— Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано.

— Все сказано,— повторил дворник.— Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собой в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что, должно, в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушечке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

— Известно, греха много,— сказал Дутлов, встал и начал молиться богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запряг его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробегал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху?— думал он,— еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху,

а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навынос выскакал в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распороло шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стукаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове: он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигель», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «Ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может, и пять, а может, и десять целковых, и велит еще чаю поднесть ему, а може, и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнулся еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрей, еще быстрей, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же, вспомнив, что его могут увидать, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем,— должен был думать Барабан.— Один раз в жизни он накормил и напоил меня во-

время, и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одер чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

X

Целый этот день никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал или что с лошадью что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она.— Прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя,— но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность хоть поочередно выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома, в одних платьях, делать круги с усиленною быстротой, чем немало стесняли всех жителей *флигеря,* входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приезжал ли Поликей и где он может быть?» — улыбнулся, отвечая: «Не могу знать»,— и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать»,— сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал,— говорил этот человек,— что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь,

все прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлебы вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принесть и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея все не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издалека было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печеньем лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом розовом ситцевом, но мятом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тятенька плиехали»,— завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!» — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобрать.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она от печи.

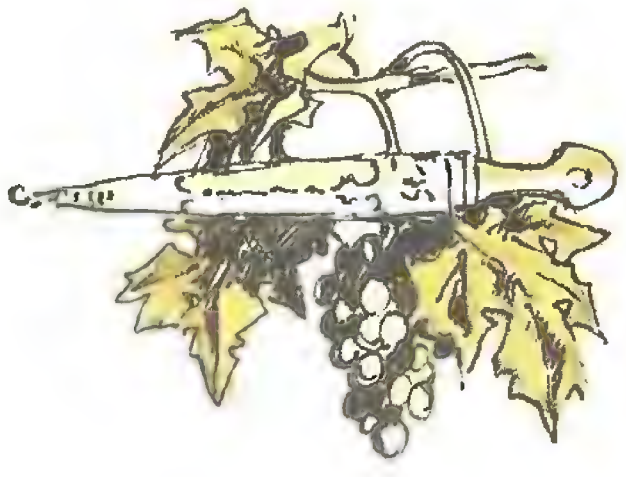
Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она.— Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

— А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины.

— Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! — сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске



«КАЗАКИ»

вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спал,— отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновенье, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою,— сказала она.— Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою.

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет.— Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

— Иди, Машка, вымою.

Сердитая, сюсюкающая девочка заревела.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховою девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликей не приходит,— сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову,— где Поликей? Отчего он не идет?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно,— отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где,— сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распахнутою грудью, поддерживая юбки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столя-

рова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее ко́том, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — проревела столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени.

— На балке... висит,— проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу, человек стоит, посмотрела: шапка подле вывернута лежит. Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна! Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня бог спас. Истинно, господь помиловал. Легко ли! И кручь и вышина какая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубахе и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу, но ее не пустили.

— Мамуска, Семка захлебнулся,— вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в *угол* с воем и плачем. Ребенка вынесли,

стали оттирать; но все было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена все еще находила людей, не слыхавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом и как бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик в женской кацавейке рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами все смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропитанными деревянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусала народ. Но истина понемногу распространялась и, наконец, достигла ушей барыни. И, кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начинала успокоиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «Барыня, барыня!» — и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых все равно, что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли

бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина!—сказала барыня.—У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу,— забормотала она скороговоркой.— Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, сударыня. Какие бы парши ни были, сейчас соскочут.— И опять она захохотала еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершела[1] с горчицей. «Воды холодной дайте»,— и она стала сама искать воды; но, увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было все это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было»,— подумали многие и стали расходиться. Акулина все хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчичниками, льду приложили к голове; но она все так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам, и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем все еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завыли собаки, и тут же, на беду, поднялся ветер и завыл в трубы, и такой страх нашел на всех жителей дворни, что у кого были свечи, те зажгли

[1] То есть фельдшера.

их перед образом; кто был один в *угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полюднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом *угле* никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над младенцем, а так, по случаю всего этого несчастия. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «Да воскреснет бог»,— опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях на сене и потом уверяли, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь препокойно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплюнула и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удавленник все висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигерь* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки,— добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся набок, с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столярова жена, прижавшись в углу своей кровати, с растрепанными волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Дуняша.

— Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду,— решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе поди.

— Я одна сбегаю, я ничего не боюсь,— сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну поди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси, не расплескай,— сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замахала одною вдвое сильнее, поперек линии своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что, ежели бы она увидала или услыхала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

XIII

«Барыня спит али нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше *флигеря;* она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не поспевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка, бо́лее решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он поискал глазами иконы и, не найдя маленького образка, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватилась за грудь... Насилу она выговорила:

— Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, высовываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили,— сказала Дуняша, выходя из двери,— что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова,— сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично-громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались,— и она опять прятала голову и, будто в конвульсиях, елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, оченно важное дело,— сказал он,— только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и расспросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезть из города. Разузнав все подробно и вытолкав в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать,— сказала барыня,— какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поворачивая конверт.— Деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто все что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать,— сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу,— остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика.— Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того...— опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом,— так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.

— Ах, боже мой, Дуняша! — сказала барыня укорительным голосом,— не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать,— опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.

— Страшные деньги, сколько зла они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделали! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет,— сказала вдруг барыня, отыскивая руку Дуняши.— Да, да, да,— повторила барыня удивленной Дуняше,— пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет.

— Полторы тысячи рублей,— заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет всё,— нетерпеливо повторила барыня.— Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай,— сказала Дуняша, подавая ему конверт,— тебе велено отдать.

Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! — сказала Дуня-

ша сердито.— Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал бог счастья! Матушки родные!

Вторая горничная не поверила:

— Что вы, Авдотья Николавна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да и ступай,— сказала Дуняша, не скрывая досады.— Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублев,— сказала тетка.

— Больше,— подтвердила Дуняша.— Ну, свечку поставишь десятикопеечную Миколе,— говорила Дуняша насмешливо.— Что, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он все взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад,— сказала Дуняша, показывая, что она все-таки презирает и мужика и деньги.— Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку.

— Рад?

— И не знаю, что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел.

Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошеле, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал,— сказал он.— Я не рад, как перед богом! Как лошадь замучил...

— Ну, твое счастье,— сказала она с презрительно-доброю улыбкой.— Возьми, возьми себе.

Он только таращил глаза.

— Я рада, что тебе досталось. Дай бог, чтобы впрок пошло! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Все за вас богу молить буду. Я уж так рад, что слава богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?

— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня,— сказала Дуняша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка!..— говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то все казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный, колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего

ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен,— радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?

— Свезли. Ты что?

— Да тут Ильича удавленного караулить поставили.

— А он где?

— Вот, на чердаке, говорят, висит,— отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал,— сказал Ефимка,— сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велят идти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, видимо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

— Эй, караульщик, поди сюда,— кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет,— сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покоробило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах, и был только что жестоко распечен исправником за пьянство, и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удавленника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.

«Ну, пропали деньги»,— подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволапому! — сказал он.

— Ему на руку,— сказал Егор Михайлович,— он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь,— сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь,— шепотом сказал Егор Михайлович.— Ефимка,— прибавил он,— ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовет! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята,— сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой,— сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволок ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович.— Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

XV

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но, по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, непраздничной рубахе, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксинья встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолившись богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами, наконец стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на полати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с мальчиком-внучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпенью, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в

углу Аксинью и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь,— видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые *он* употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал *его* тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста повещать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях.— Или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завыла на задворке, а *он* шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять *он* стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был *он*. Он хотел сотворить крест, но не мог. *Он* подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик знал, что *он* был в Ильичовом образе. *Он* оскалялся, руки болтались. *Он* взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги,— выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду,— хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всею тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что, ежели он прочтет молитву, *он* отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет бог»,—проговорил Дутлов. *Он* отпустил немного. «И расточатся врази...» — шамкал Дутлов. *Он* сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул *он* обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все подряд. *Он* пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она спрыгнула на

мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят,— сказал он,— в город поеду»,— и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже сбирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и, со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой, пошел к Егору Михайловичу.

— Ты у меня копайся! — крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси.— Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы намедни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, все жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость научи,— говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодайка уже уехала с Игнатом и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало все брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех похождений Дутлова в

это утро; скажу только, что ему особенно посчастливилось. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупщик, мещанин, ходивший уже третью неделю, все просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Триста с четвертною возьмешь?» — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четыреста. «Не возьмешь с четвертной?» — повторил Дутлов, схватывая левой рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, бог с тобой!» — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно, так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но все еще как будто бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

— Не греши,— повторял Дутлов, суя ему деньги,— умирать будем,— повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать,— еще раз ударил по руке и стал молиться богу.— Дай бог час,— сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, простившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к

купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодайкой сидели в углу купцовой кухни, и как только вошел старик, они перестали говорить и уставились на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

— Ты не греши, Илюха,— сказал он, подходя к племяннику.— Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она, бумага-то,— сказал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, неразгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить.

— Ты мне вчера одно слово сказал,— повторил еще раз старик,— ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне заместо сына ро́дного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? — обратился он к стоявшим вокруг мужикам.— Вот и матушка твоя родная тут, и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде, как дотронувшись головою до земи, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодайка выли от радости; в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по-божьему, так-то»,— говорил один. «Что деньги? За деньги малого не купишь»,— говорил другой. «Радость-то какая,— говорил третий,— справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки, котелок и калачи. Во второй телеге, которою никто не правил, степенно и счастливо сидели молодайка с свек-

ровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись, задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег по мостовой, и пофыркиванье лошадей — все сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой, без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрей становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балалаечнику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвивался кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом пускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уже все это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянулся, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова.— Вон крестный-то!

— Где? Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге.

— Мишка! Стакан! — закричал он.— Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то, право!..— вскричал он, заваливаясь пьяною головой в телегу, и начал угощать мужиков и баб вод-

кою. Мужики выпили, бабы отказывались.— Родные вы мои, чем мне вас одарить? — восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидал ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт! — завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая? — спросил он.— Ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал все и сунул в колени старухе.

— На́ тебе, жертвую,— сказал он голосом, который становился все тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родный! Вишь, про́стый малый какой,— говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал все ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он.— За то вас и дарую.

— Я чай, тоже матушка есть,— сказал кто-то из толпы.— Про́стый малый какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть,— сказал он.— Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая,— прибавил он, хватая Илюшкину старуху за руку.— Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай бог тебе!..— проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

— Поезжайте вы к дьяволу,— закричал он, угрожая стиснутыми кулаками.— Чтоб твоей матери...

— Ох, господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей-

рекрут стоял посредине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи.

— Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал он.— Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толгы рекрут. Проехав верст пять шагом, Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Вдвоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадь в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поравнявшись с двумя веселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней тряскшихся в телеге.

КАЗАКИ

Кавказская повесть 1852 года

I

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней.— И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистень-

кий, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий.— Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней,— обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват,— отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь,— продолжает отъезжающий.— Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно,— подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля.— Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой.— Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон.— Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне же-

лание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь,— сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду,— продолжал он.— Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом.— С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его,— жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да,— отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйте, свечи тушить приказано,— сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же.— Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной,— сказал высокий.— Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому.— Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо,— сказал высокий, надевая перчатки.— Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем»,— и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин,— сказал один из провожавших.— Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных дававших слез...

II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю»,— и раз даже сказал: «Как хватит? Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не

одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* — когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа»,— думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнию, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить

себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке,— на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность,— не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная, за что, не зная, зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то,— что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастие.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле? — представился ему вопрос.— Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения.

Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то,* и точно, вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам? — думал он.— Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостию остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они? — он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублях, которые он остался должен портному,— и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, боже мой, боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила,— думает он о девушке, про которую шла речь при прощанье.— Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье»,— вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа,— подумал он,— и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей-управляющий очень был бы

озадачен, что я на *ты* с таким господином, как Сашка Б***, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек»,— думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится,— где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка,— и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $^{7}/_{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на $^{1}/_{8}$ всего состояния,— и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога *она*, дожидающаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью,

кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи. ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усвоивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris» [1], например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезать из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет,— говорит он сам себе.— Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое — те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество,— приходило ему иногда в голову.— А эти люди, которых я здесь вижу,— *не люди*, никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве, в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его

[1] «Собор Парижской богоматери» *(франц.)*.

между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих,— больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых»,— и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил,— и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это

призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы,— отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю,— сказал Ванюша,— вот хорошо-то! Дóма не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось»,— как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...

IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гнющих чинар[1] и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину бóльшая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоня-

[1] Чинáра — платан, дерево из породы кленовых.

ясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков[1], зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тереком — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от гор-

---

[1] Волков. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

ца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак бóльшую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он *гуляет*. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки[1]; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях

---

[1] Чувяки — обувь. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу,— река; с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все, ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечками, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется длиннее и выше всех других дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в

несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «Выше подними, срамница»,— и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *сапетке*[1] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела

---

[1] Наметка. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча, проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка,— кричит мать,— чувяки-то все истоптала». Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку* [1], и обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда заслышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет,— говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают,— гово-

---

[1] Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

рит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукашка, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава богу,— говорит хорунжиха.— Урван — одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют,— говорит Лукашкина мать,— только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много,— замечает Лукашкина мать и качает головой,— твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет,— говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем,— говорит Лукашкина мать.— Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Иляс! — гордо говорит хорунжиха,— со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит:

— Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо,— прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Краля девка, работница девка,— думает она, глядя на кра-

савицу.— Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка *Урван*, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурясь поглядывал то на даль за Тереком, то вниз на товарищей-казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалека видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*[1] с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть чрез него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*[2] от полкового командира казак с *цидулкой*[3], в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность,— на кордоне не

---

[1] Абреком называется немирно́й чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Прибегал — значит на казачьем наречье — приезжал верхом. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой-казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо, мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был *собран* в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, наговицы спущены ниже колен. Одежа его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть,— сказал Лукашка, посмеиваясь,— то-то бы переполошились!

— Не донесет.

— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу[1] пить,— сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поршни*[2] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо *кобылку*[3] и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинтой*, приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во́ тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется,— сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

---

[1] Татарское пиво из пшена. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*[1],— подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть*. *Посижу*,— отозвался старик к великому удовольствию всех казаков.— А свиней видали?

— Легко ли! Свиней смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину.— Тут абреков ловить, а не свиней, надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик.— Не, не слыхал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси,— прибавил он.

— Ты что ж, *посидеть*, что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночку *посидеть*,— отвечал дядя Ерошка,— може, к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку.— Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду говорю,— прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху.— Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький, видно,— сказал Лукашка.— У самой у канавы, дядя,— прибавил он серьезно, встряхивая головой.— Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*...[2] Да я тебе покажу, дядя, кое место,— недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику,— пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг

---

[1] Посидеть — значит караулить зверя. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Лопнет — выстрелит на казачьем языке. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

себя.— Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то, ловок стал Лукашка твой,— прибавил урядник, обращаясь к старику.— Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки.— Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка, замолкая.— Где петуха-то взял? Должно, мой пружок...[1]

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей. Должно, твой.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера поставил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

— Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

— Будет с него.

— Боюсь я их резать,— сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

---

[1] Силки, которые ставят для ловли фазанов. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха.— Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в *секрет* пошлет черт-то,— прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника.— Фомушкина за чихирем услал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу,— продолжал Назарка.— Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Бо́ нашел о чем толковать! — сказал Лукашка, видимо, думая о другом,— дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты...

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет,— вдруг сказал Назарка.

— А черт с ней! — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь.— Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

— А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

— Вот ты черт какой! — сказал Назарка.— Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что, она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

— Что Марьянка! все одно! — сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

— То-то шомпол будет,— сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земля-

ном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в *секрет*.

— Кому ж нынче идти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому идти? — отозвался урядник.— Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил,— сказал он не совсем уверенно.— Идите вы, что ли? Ты да Назар,— обратился он к Луке,— да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпаешься, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите,— сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо, мало надеясь на послушание казаков.— Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, идти надо,— говорил Ергушов,— порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята,— загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса,— вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней *сидеть* буду.

VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь, что ль, *сидеть*? — сказал Назарка.

— А то чего ж! — сказал Лукашка,— садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно,— сказал Ергушов,— тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот тут недалече, дядя,— сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика,— я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван,— так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

— Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос,— отвечал старик,— *карга* за канавой в *котлубани*[1] будет,— прибавил он.— Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево — на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь»,— подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновенье от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее,— сказал он.— Проводил?

— Указал,— отвечал Лукашка, расстилая бурку.— А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул,— сказал Ергушов, завертываясь в бурку.— Я теперь засну,— прибавил он,— ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу,— ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной

---

[1] Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

стороны небосклона светились звезды; другая и бóльшая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча—все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самою головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла бóльшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *душенька*, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями.

Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить»,— подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрска один убью!» — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану»,— думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек»,— подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: «Отцу и сыну»,— пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновенье осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по теченью, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, черт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука.— Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка,— кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающею карчой. Неподалеку остановилась она на отме-

ли, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторили казаки.

— Абреки! сказывают тебе,— повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги.— Человек плыл...— сказал он, указывая на отмель.— Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то,— повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот, гляди! Гляди сюда,— сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю,— сказал он тихо и стал осматривать ружье.— Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов,— сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам,— сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лазяй, говорят,— проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья.— Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорил Назарка,— да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут,— сказал Ергушов, поднимаясь,— ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись,— проговорил Ергушов,— а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю,— проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять на чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей,— послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя,— сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье, никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика.— Джигита убил,— сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услыхал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-

за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно, издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик.— Далече, брат, теперь...— И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу.

— Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука.

— Молодец, Лука! Тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет,— кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми,— прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкой, должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая.— Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее,— сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого.— Ты кинжал себе возьми и

зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три *монета* дам. Вишь, оно и с свищом,— прибавил он, пуская дух в дуло,— так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, черт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун,— хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить,— сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу,— сказал Лукашка, видимо, уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята,— обратился урядник к казакам, все осматривая ружье.— Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

— Еще не жарко,— сказал кто-то.

— А чакалка изорвет? Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

— Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь,— прибавил урядник весело.

— Уж как водится,— подхватили казаки.— Вишь, счастье бог дал: ничего не видамши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой,— говорил Лука.— Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за *монет*. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю,— сказал Лука,— сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь,— сказал Назарка.

Казаки загрохотали.

— Будет вам смеяться,— повторил урядник, —оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

— Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги! — проговорил он,— не пропадет, хозяева узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежевыбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо любуясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал,— отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— А я к Ямке зайду,— погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне,— отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

X

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чур-

ки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фуршташы забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями не виданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Вместо ста-

сканного ночною жизнью желтоватого лица — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно,— сказал Ванюша,— а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься.— Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро.— Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил?

— Да ведь я их местоположения не знаю,— обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то *кригу* [1], говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи! — отвечал Ванюша, хватаясь за голову.— Как тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошел»! Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворне? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте,— сказал Ванюша, видимо, озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? А, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич,— отвечал Оленин, продолжая улыбаться.— Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри — все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, са-

---

[1] Кригой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

ми того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидал в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. «Да еще много таких будет»,— вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел...— начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!..— пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин.— Татарин благороднее»,— и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время, как он выходил, Марьяна, как была, в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постуки-

вая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она»,— подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая,— сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся,— ровно кобылка табунная! *Лафам!* [1] — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI

Ввечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три *монета* в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы,— в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая

[1] Женщина! (от *франц.* la femme)

то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку.— Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы.— Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо, сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему.— Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек,— сказал он, приподнимая над коротко обстриженною головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек,— отвечал Оленин.— Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей,— сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди.— Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал,— отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки.— Али ты не видывал? — спросил он.— Коли хочешь, возьми себе парочку. На! — И он подал в окно двух фазанов.— А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик.— А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем,— сказал дядя Ерошка.

— Заходи,— сказал Оленин.— Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти,— сказал старик.— Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он.— Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю,— отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой.— Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун,* спаси бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды.* Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник! — И старик засмеялся.— Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо,* по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит

шутю. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднесть. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик.— Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то, Иван, Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда!

— Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик.— Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ,— продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел,— они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хоть ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

XII

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие,— сказал он, решившись быть особенно кротким.— Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные,— сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными.— Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше,— прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им,— сказала бабука Улита, обращаясь к дочери.— Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой,— проговорил он и высунулся в окно.— Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он.— Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник,— прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина.— Я молодец, я шутник,— прибавил он.— Королева девка? А?

— Красавица,— сказал Оленин.— Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик.— Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь! — сказал Оленин.— Ведь это грех!

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик.— На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спáсенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре бье*[1], для разнообразия,— думал он,— скажу теперь барину».

— Что зазастил-то, черт! — вдруг крикнула девка.— Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай,— сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

---

[1] Эта девушка очень хороша (*искаж. франц.*).

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые,— убедительно отвечал Ванюша.— Мы такие добрые, что, где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут,— поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает,— гордо объяснил Ванюша.— Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру,— прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули* [1],— и тотчас же с глупым хохотом ушел.

XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали.

---

[1] Девушка очень красивая (*искаж. франц.*).

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест вышлют.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то!

— Сказывали, пришел Лукашка-то,— сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то.— Прямо, что Урван! Да что! малый хорош! Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут, никак,— продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице.— Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете? — крикнул он на девок.— Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — послышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба.— Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку.

— Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка.— Мы с кордона *помолить*[1] пришли. Вот Лукашку *помолили*.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалин-

[1] Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья; вообще употребляется в смысле выпить. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

ке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра,— степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший,— сказал казак,— я рад, сейчас говорил.

— И я говорю,— подхватил пьяный Ергушов, смеясь.— Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата.— Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали,— сказала одна из казачек.— Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка.— Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить,— сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну смола,— запищала девка,— бабе скажу!

— Говори! — закричал он.— И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно.— И он принялся обнимать другую девку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, черт тебя принес с кордону! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху.— Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть,— вмешалась за Марьяну старуха,— а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать! — сказала она.— И каку черную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку строить будут,— сказала одна девка.

— А мне сказывали,— промолвил Назарка, подходя к Устеньке,— яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят.— И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку,— сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще,— кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит! — кричала она, смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди,— проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка.— Ровно уставщики длиннополые,— и он промаршировал по дороге, передразнивая их. Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили,— сказала она.

— Что он, старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала,— отвечала девка.— За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек,— прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери,— сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу,— сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано,— вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел,— прошептал Лукашка,— ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А нянюка! Мамука ужинать зовет,— прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду,— отвечала девка,— ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,— сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха,— думал он про Марьяну,— и не пошутит, черт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой,— сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

— Что я тебе сказать хотел... ей-богу!..— Голос его дрожал и прерывался.

— Каки разговоры нашел по ночам,— отвечала Марьяна.— Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай,— вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова,— отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака.— Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься,— сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка,— говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она.— Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

«Хорунжиха,— думал себе Лукашка,— замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего *няню*[1] Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою *душеньку*, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой,— говорил он,— не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда[2], к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник; на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам,— в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, солдат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы

---

[1] Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татарином не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь,— прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила...

— Как?

— Да так испортила...

— Так как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.

Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и подносся вино.

XV

— Так о чем, бишь, я говорил? — продолжал он, припоминая.— Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб,— все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду,— уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик [1]

[1] Лопазик — называется место для сиденья на столбах или деревьях. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

сделаю и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся, или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его или так только, испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя ходит. А то раз сидел я на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе: сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит»,— и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь божия. Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он.— Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много,— приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.— Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и белом *курпее* на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина, в белом платке, прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела»,— казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпáли все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись.— Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него.— Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай,

отец мой, и сыт и пьян,— сказал он, вставая.— Завтра на охоту приходить?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспишь — штраф.

— Небось раньше тебя встану,— отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Бóльшая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. *Простота* Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадушке с грязною, вонючею водой, размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на

краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма*, дядя? (то есть: дома, дядя?) — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик.— Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж? люди достаточные,— говорил он сам себе.— Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз...»

— Здорово, Марка! Я тебе рад,— весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал *выходку*.— Ловко, что ль? — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся.— Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос,— проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой.— Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с торжественностию принимая вино.— Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскоруз-

лыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога,— сказал он гордо.— Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой,— сказал старик,— ружья не дашь — награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку? [1] А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а, бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

— Эх! мы не тужили,— сказал старик,— когда дядя Ерошка в твои годы был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик.— Нельзя,— на то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка.— Не такие мы, видно, люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака.— Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерошка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пешкеш*, свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют,— презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю,— сказал Лукашка.— Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне;

---

[1] Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить? — сказал Лука,— ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть,— молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуитя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуитя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуитя живучи в Сиони.
Се царь твой.
Мы сядем иа кони.
Софоние вопие,
Захарие глаголе.
Отче Мандрыче
Человеко-веко-любче.

Веко-веко-любче,— повторил старик.— Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може, так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав,— и старик сам засмеялся.— А ты в Ногаи, Лука, не езди, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Вовсе светло, дядя,— перебил он его.— Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

XVII

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукашка, нагулялся? — сказала мать тихо.— Где был ночь-то?

— В станице был,— неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и идти надо,— отвечал Лукашка, увязывая порох.— А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не уви-

жу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови,— сказал Лукашка.— Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде, и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! Молодец, Степка! — отвечал брат, кивая головой.— Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — И, достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрей стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила намедни, что сватать пришлю,— сказала мать,— приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

— Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю,— сказала мать, видимо, не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела.— Ты как пойдешь,— сказала старуха сыну,— так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в *саквы*[1] положить?

— Ладно,— отвечал Лукашка.— А коли из-за реки Гирей-

---

[1] Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? — сказала старуха.— То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка,— сказал он матери, припирая за собой ворота.— Ты бочонок с Назаркой пришли,— ребятам обещался; он зайдет.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю,— отвечала старуха, подходя к забору.— Да слушай что,— прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить, и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

XVIII

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом.— Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик.— Так-то у нас, добрый человек. Вот уж

и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку.— Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?* [1] — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по-нашему лопочешь, черт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается,— шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

— Прощается для первого раза,— отвечал Ерошка,— а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас,— сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером,— его не обманешь.

— Да, ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет,— сказал Ерошка, глядевший в окно.— Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан* [2],— сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед за тем сам хорунжий, в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищеных сапогах — редкость у казаков,— с улыбкой на лице, раскачиваясь вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак *образованный*, побывавший в России, школьный учитель и, главное, *благородный*. Он хотел казаться *благородным;* но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! — сказал Ерош-

---

[1] Хотите чаю? *(франц.)*

[2] Деньги *(франц.)*.

ка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

— Это наш *Нимврод египетский*,— сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика.— *Ловец пред господином*. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «*Нимрод гицкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим идти,— сказал Оленин.

— Так-с точно,— заметил хорунжий.— А у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть благородный человек,— начал хорунжий,— и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда стрaктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов,— а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит,— пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду,— сказал он,— мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, *особливый*,— отвечал хорунжий и вышел на крыльцо.— Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый*, Ерошке в *мирской* стакан.

— Однако не желаю вас задерживать,— сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан.— Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекриации от должности. Тоже имею желание испытать счастие, не попадутся ли и на мою долю *дары Терека*. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить *родительского*, по нашему станичному обычаю,— прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же,— сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана.— Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь,— сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик.— Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердишься на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю,— отвечал старик.— Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит,— сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покла́нялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась,— сказал Оленин.

— Хвастаешь,— крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу! — сказал Оленин.

— Баба черт,— раздумывая, сказал Ерошка.— А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть.— Ерошка захохотал.— Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, *шутю*. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало — жила она высоко; мать ведьма была, черт, страсть не любила меня,— приду, бывало, с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул; так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе и винограду, всего натащит,— прибавил Ерошка, объяснявший все практически.— Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу,— сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он.— Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу»,— и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну, что за вздор! — сказал Оленин.— Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! Теперь молчи,— опять шепотом прервал старик этот разговор,— только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

XIX

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников,

покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил,— прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку.— Мурло-то закрой: фазан,— он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках,— мурла человечьего не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух *тордокнул* с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

— Молодец! — смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! Сюда пойдем,— перебил его старик,— вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее.— Человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след,— просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу, к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был,— вздохнув, сказал старик,— видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль,— проговорил он. И, отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду.— Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду.— Дурак! Свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так

что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазяя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькующей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпи-

мым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер теплоокровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чалкалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть»,— жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше.— Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастия. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества — все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого

себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он.— Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастия!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие — вот что,— сказал он сам себе,— счастие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастия; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно,— все думал он,— отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнце уже не было видно, за вершинами дерев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось — и погода, и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя,— думал он,— когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнию. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла

песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурным мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из ста-

ницы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженною и выкрашенною красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев,— рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке,— вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит,— говорил лазутчик, указывая на чеченца.— Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах,— отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье.— Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо, гордясь этим знакомством.— Кунак мне.

— Сосед мне,— отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо, очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитою двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше благородие»,— и только кое-кто ответил

простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту,— в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника.— Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник,— отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им,— обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Всё одна хурда-мурда,— сказал лазутчик, видимо, обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, перенося весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо

аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством.— Разве хорошо?

Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так, привык,— отвечал Оленин,— а что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то,— сказал Лукашка, указывая в ущелье,— а не доедешь!.. Как же вы домой один пойдете: темно. Я вас провожу, коли хотите,— сказал Лукашка,— вы попросите у урядника.

«Какой молодец»,— подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он.— Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат,— сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке.— Слыхал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушел,— сказал Лукашка, смеясь.

— Чему же ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке.— Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его.

Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну,— думал себе Оленин,— а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.

— Ничего! А мне что ж делать? Как вам не бояться? И мы боимся,— сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать,— засмеялся Лукашка,— да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди...— И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься — правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты нестроевой?

— Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

— А сколько конь стоит?

— Торговали намедни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю,— вдруг сказал Оленин.— Право. У меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь, сказал Лукашка.— Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты? — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что, у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса,— рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь.— Вот вы где заплутались,— прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили,— вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте,— отвечал Оленин,— хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче,— сказал Лука.— Ишь чакалки воют,— прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка.— Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо,— сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все это счастие и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной — не ту, на которой он ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка.— Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит,— отвечал Оленин,— возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит,— говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, недуманно-негаданно...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.

— Бог даст, и я вам отслужу,— сказал он, допивая вино.— Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Митрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а всё кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.

— Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу,— понизив голос, сказал Лукашка,— коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не расска-

зать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан ильньяпа*[1], и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был по его мнению, однако стоил, по крайней мере, сорок *монетов*, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок *монетов*, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка.— Конь-то у меня, а там видно будет! Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к *простоте* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит,— говорил один.— Богач!

— Слыхал,— отвечал другой глубокомысленно.— Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий,— как раз подожжет или что.

---

[1] Денег нет (*искаж. франц.*).

XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учение его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове,— бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. Назавтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за

каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, mon cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами.— Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек,— говорил Белецкий, не умолкая.— За экспедицию представлен к Анне[1]. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев: доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оле-

---

[1] Представлен к Анне — к награждению орденом святой Анны.

нину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

XXIV

Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь.) Хозяйка была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клети доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлепью* на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клети и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат.

Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клети; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Се пре!*»[1] — отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доенья.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень,— он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под ее стянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку.— Как вы так рано?

[1] Готово! *(франц.)*

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится,— проговорил ей вслед Белецкий,— вас стыдится,— и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте,— сказал он,— живете в одном доме... и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин,— сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно,— отвечал Оленин,— но отчего мне не говорить то, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. A la guerre, comme à la guerre! [1]

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться,— отвечал Оленин.— Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был

---

[1] На войне — как на войне! *(франц.)*

смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови.

— Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий.— Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть,— сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

— Едва ли! Мне говорили, что восьмая рота пойдет,— сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал, а слыхал, что Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика,— сказал Белецкий, смеясь.— Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно,— думал он.— Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто

связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Les trois mousquetaires» [1].

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит?

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты послышался звонкий хохот.

Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну, ты! Вот тарелки разобью,— завизжала она на Белецкого.— Ты бы шел подсоблять,— прокричала она, смеясь, на Оленина.— Да *закусок-то* [2] девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же! Она теста принесла.

— Вы знаете ли,— сказал Белецкий,— что, ежели бы одеть эту Устеньку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая dignité! [3] Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне — лучше этого наряда ничего быть не может.

---

[1] «Три мушкетера» *(франц.)*.

[2] Закусками называются пряники и конфеты. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Осанка! *(франц.)*

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белецкий, весело вздыхая.— Пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат.— Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все,— сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали,— сказал он.

Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Просим покорно моего ангела *помолить*,— сказала Устенька, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно,— сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев *гулявших*, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок

силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег,— думал он.— Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь! — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянув на него, и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицей в станице. Устенька была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечною улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не *хорошенькая*, но *красавица*. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное — ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками,— все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставлял девок подносить чихирь, возился

с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre*, и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжелее и тяжелее. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенька должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу,— сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги,— сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить,— подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость.— Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-казацки»,— и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себя стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенька поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем,— сказала она, встряхивая на тарелке четыре *монета*, которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем,— сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно,—подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку.— Нет, ты поднеси,— настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне.— Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица девка,— повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. На-

чался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь?— спросил Оленин.

— А так, не хочу, и все,— отвечала она, вздергивая нижнею губой и бровью.— Он дедушка,— прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее.— Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь,— сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отоприте! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали.— И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А если б я к вам ходил?..— сказал он нечаянно.

— Другое бы было,— проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастие: кто счастлив, тот и прав»,— мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенькина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

XXVI

«Да,— думал Оленин, возвращаясь домой,— стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движения, пощелкиванье семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частию весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг заслышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его,— и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостию.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде

и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев,— думал он,— люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке,— только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке,— и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде,— быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтобы он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастие,— его удерживала мысль о том, что счастие состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастия и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастие.

XXVII

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой! Уж и конь! Кабардинский лов-тавро [1]. Я охотник.

Они осмотрели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с глянцевитою шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою, породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его *только спать ложись*, как выразился Лукашка. Копыты, глаз, оскал — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

— А езда-то,— говорил Лукашка, трепля его по шее.— Проезд какой! А умный! Так и бегает за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал,— улыбаясь, отвечал Лукашка.— От кунака достал.

— Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее?—спросил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам,— сказал Лукашка весело.— Только скажите, отдам. Расседлаю, и бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешкеш* привез,— и Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне.— За рекой достал.

— Ну, спасибо.

— А виноград матушка обещала сама принесть.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

— Как можно,— кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан привел в саклю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Тереком. Нынче еду с Назаром, с товарищем.

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на службу,— неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе бу-

---

[1] Тавро завода кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

дете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитуя, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка.— На, веди к ней коня, а коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру все в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал,— сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.

— Это я,— прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услыхала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи,— проговорил Лукашка.— Пусти меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое? Сказано, не пущу. Что ж, надолго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько,— сказал Лукашка.

— Марьянушка! — послышался голос старухи.— С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не приметили его, и присел под окно.

— Иди скорей,— прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил,— отвечала она матери,— батяку спрашивал.

— Что ж, пошли его сюда.

— Ушел, говорит, некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке.

— Ведь не пустила,— сказал он.

— О! — отозвался Назарка.— Я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывала: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкиря флинту за Марьянку взял.

— Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка,— не такая девка. А то я ему, старому черту, бока-то отомну.— И он запел свою любимую песню:

Из села было Измайлова,
Из любимого садочка сударева,
Там ясен сокол из садичка вылетывал,
За ним скоро выезживал млад охотничек.
Манил он ясного сокола на праву руку.
Ответ держит ясен сокол:
«Не умел ты меня держать в золотой клетке
И на правой руке не умел держать,
Теперь я полечу на сине море;
Убью я себе белого лебедя,
Наклююся я мяса сладкого, «лебедикого».

XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменилось в это последнее время,— писал Оленин,— и дошел до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свежевал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не

слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину — кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой,— сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному; ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал,— сказал он так же тихо.— Я мастер играть: татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно.— Ну, обидели тебя — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?
На базаре в лавке,
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,
Весь овторник прострадал,
В середу в любви открылся,
В четверток ответу ждал.
В пятницу пришло решенье,
Чтоб не ждать мне утешенья.
А во светлую субботу
Жисть окончить предприиял;
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,
Алой лентой перевью,
Надеженькой назову.
Надеженька ты моя,
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты, мое времечко, не воротишься,— всхлипывая, проговорил он и замолк.— Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня.

Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай! далалай!» Ерошка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: «ай, дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» — и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из *избушки* в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, бог с ними! — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели.— Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу,— сказал старик шепотом.— А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив»,— думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

XXIX

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревах были покрыты пылью; дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча, днем убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, ве́рхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками *мамуки* вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени пер-

сикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Хорунжий, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом* край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся,— отвечала старуха,— только бы погода не задержала. Демкины еще половины не убрали,— прибавила она.— Одна Устенька работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— На́, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке.— Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть,— сказала старуха.

— Дело впереди,— сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говоришь? — сказала старуха.— Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай,— опять сказал хорунжий.— Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха.— Что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче,— сказал хорунжий, — говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово,— подтвердила старуха.

Все семейство было весело и довольно.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная *сорочка*, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаха; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодною водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокоино ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенька, укладываясь под арбой.— Стой,— сказала она, вскакивая,— так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом.

— Ты пусти,— закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу,— разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец,— приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась,— отвечала Марьяна, отбиваясь.— Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенька.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенька не унималась:

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю.

— Нечего знать,— отвечала Марьяна.

— Ах ты, плут-девка! — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь.— Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться,— говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение.— Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! Первый джигит. Все и в сотне гуляет. Намеднись приезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А все, чай, по тебе скучает. А еще что он говорил? — спросила Марьяну Устенька.

— Все тебе знать надо,— засмеялась Марьяна.— Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень,— серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит,— гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она, запыхавшись,— счастья себе не хочешь,— и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех.— Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись,— послышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь,— повторила Устенька шепотом и привставая.— А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты коряваая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой *дедушка* — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то,— проговорила она, перекусывая травинку.— Говорит: я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врет, что на ум взбрело,— отвечала Устенька.— Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал,— проговорила она, помолчав немного, и заснула.

XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толканула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил, ни одного не нашел,— говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся,— сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы,— весело сказала старуха.— Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят *монетов* Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать,— сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам,— сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость,— сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи,— в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин.— Я схожу,— и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь,— сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать,— думал он,— когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать»,— думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех.— Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.

XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать, слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и тыквы, и на

пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновенье при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка, ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину.— Я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо, нарочно.

— Вишь, ловкий *юнкирь* какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда! — Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате.— Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать...— сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!..

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было, да все равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться,— смеясь, сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки — приготовить место для краденой лошади — и, проходя домой по улице, заслышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять *монетов*. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей стани-

цы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соболезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастие стать мужем графини Б***, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,— мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта веч-

ная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света»,— воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастия, которого я недостоин.

Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостию в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и

чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я? и зачем я? Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. Восемнадцатого числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящею

любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастию. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнию. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастия. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильней меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».

XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка,— сказала мать.

— Не, я простоголовая.— И она вскочила на печь.

Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы,— отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете.— Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно: Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался,— сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал,— сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает,— вдруг сказала Марьяна.— На свои деньги гуляет,— и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик,

брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенькой.

— Здорово дневали? — пропищала Устенька.— Все гуляешь? — обратилась Устенька к Оленину.

— Да, гуляю,— отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжеле становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в *избушке*. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату: Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он.— Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь, вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе.— «Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова.— Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю»,— ответил ему внутренний голос.— Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! Я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю.— И безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь,— прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами.— Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она, смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц сбирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами,— больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо их, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята, в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери,

в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостию восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплевывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно, бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидать Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалине с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого: «Заходите»,— и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка,— говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь.— И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна.— Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устеньке. Надо им бал задать.

— И я приду к Устеньке,— сказал Оленин решительно.— Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, нисколько не удивляясь.— А ведь очень красиво,— прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным.— На таких праздниках,— прибавил он,— меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да,— сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений.— А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан.

— *Алла бирды*,— сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— *Сау бул* (будь здоров),— сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан.— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно.— Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымется. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут, бывало, казаки или верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны!

XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцевитою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь,— отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь,— проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, черт, все знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным, заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь.— Состарились без меня, ведьмы.— И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! Здорово, батяка! — послышались веселые голоса.— Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночку погулять прилетели,— отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем,— пропищала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и

радостию. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитуя между девок. Он нагнулся к Марьяне.— Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь,— сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устеньке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую,— сказал он, передавая узелок Устеньке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди.— Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем,— сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у соседнего двора и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора.— Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседлывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала,— сказала старуха,— а Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку поди, матушка. Ко мне Назарка придет, *праздник помолим.*

— Сейчас, Лукаша, сейчас,— отвечала старуха.— Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И, захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку.*

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

XXXVII

— Будь здоров,— говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то,— сказал Назарка,— дедука Бурлак что сказал: «Много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко ответил Лукашка.— Да это что? — прибавил он, встряхнув головой.— Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно? Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово.— На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

— Давай еще полведра! — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, черт, где украл? — прокричал дядя Ерошка.— Молодец! Люблю!

— То-то люблю! — отвечал, смеясь, Лукашка.— Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! (Старик расхохотался.) Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю,— поддакивал он.

— Поехали мы с Гирейкой,— рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

— Дураки,— сказал дядя Ерошка.— Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногайки-бабы, пра!

— Да, поймали,— обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали; опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажет, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел,— сказал дядя Ерошка.

— И я говорю,— подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился! Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земи... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить. Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

— Я и говорю: ловко! А много ль?

— Все тут,— сказал Лукашка, хлопая по карману.

Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали...— начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь! — сказал Лукашка.— А я пойду.— И, допив вино из чапурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

XXXVIII

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шел дым и, сливаясь с туманом, стлался

над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесику, лесу темного,
Ай-да-люли!
Из-за садику, саду зеленого
Вот и шли-прошли два молодца,
Два молодца, да оба холосты.
Они шли-прошли да становилися,
Они становилися, разбранилися.
Выходила к ним красна девица,
Выходила к ним, говорила им:
Вот кому-нибудь из вас достануся.
Доставалася да парню белому,
Парню белому, белокурому.
Он бере, берет за праву руку.
Он веде, ведет да вдоль по кругу.
Всем товарищам порасхвастался:
«Какова, братцы, хозяюшка!»

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенькая Устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали,— говорил Белецкий,— я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устеньке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он подошел к Устеньке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели:

Как за садом, за садом
Ходил, гулял молодец
Вдоль улицы в конец.
Он во первый раз иде,
Машет правою рукой,
Во другой он раз иде,
Машет шляпой пуховой,
А во третий раз иде,
Останавливатся,
Останавливатся, переправливатся.
«Я хотел к тебе пойти,
Тебе, милой, попенять:
Отчего же, моя милая,
Ты нейдешь во сад гулять?
Али ты, моя милая,
Мною чванишься?
Опосля, моя милая,
Успокоишься.
Зашлю сватать,
Буду сватать.
Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня».
Уж я знала, что сказать,
И не смела отвечать.
Я не смела отвечать,
Выходила в сад гулять.
Прихожу я в зелен сад,
Дружку кланялась.
«А я, девица, поклон,
И платочек из рук вон.
Изволь, милая, принять,
Во белые руки взять.
Во белы руки бери,
Меня, девица, люби.

Я не знаю, как мне быть,
Чем мне милую дарить,
Подарю своей милой
Большой шалевой платок.
Я за этот за платок
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посредине хоровода.

— Что же, выходи какая! — проговорил он.

Девки толкали Марьянку: она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да,— решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

— Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки придут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней.— Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал,— сказал Оленин, нагибаясь к ее уху.— Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу,— ответила она,— нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «Приходи же к Устеньке»,— отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток»,— говорил Лукашка. Говор,

смех, беготня заменили плавное движенье и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок *закусками*.

— На всех жертвую,— говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством.— А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон,— прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке,— *мною чванишься?* — еще повторил он сердито.— *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня*,— прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну.

Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят,— отвечала Устенька,— а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька,— сказал он,— последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду,— сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно,— сказала Марьяна,— там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет,— укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой.— *Будешь плакать от меня*,— и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — Играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка.— Помни ж! — Он подошел к лавке.— Девки! — крикнул он,— что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут,— отвечал Белецкий.— Пойдемте, надо приготовить бал.

XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному; он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну тебя! Увидит кто! — сказала Устенька.

— Ничего.

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались,— сказала Устенька.— Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь,— отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога!

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки.— Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак,— сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастия. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да,— говорил он сам себе,— только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

XL

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостию вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее,— говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут,— кричал Лукашка,— в средние ворота ехать надо.

— И то, оттуда ближе,— говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.

Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и *молили* свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся;

только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий — и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра *лошадь*, а не *конь*, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь,— подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо, робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— *Ай, ай, коп абрек!* — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он

и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед.

— Вон конный едет,— сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька, никак,— сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно.— Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

XLI

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит,— сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули

просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич,— сказал он.— Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном,— сказал Лука,— а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин взъехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы,— их было девять человек,— сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-лай* дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновенье, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять

упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороной. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! *Ана сени!* — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно: Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он,— а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! Я пришел...

— Оставь,— сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестким голосом.— Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо?

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори,— умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

XLII

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было *не то*. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой,— говорил дядя Ерошка.— Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то всё, как ваш брат оробеет, так к народу и жмется: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит,— сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

— Это казаки баловались,— отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин.— Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а розгнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай.— И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается,— говорил он, видимо, утешаясь этою пулькой, как игрушкой.— Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, *няню* моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить,— сказал Оленин.— Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик.— Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет,— ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли.

Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *мирщился*, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что, бишь, я говорил,— продолжал он,— ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно *холком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой.— Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся,— сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он.— Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай,— сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю, прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две,— говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша.— Все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ,— проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь.— Вишь, скупой.

Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*[1] — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

---

[1] Девушка! *(франц.)*

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

(Быль)

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли,— опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми.— А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами,— человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху,— навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар,— да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами,— до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул [1]. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога — под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит — из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

---

[1] А у л — татарская деревня. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше; бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый,— быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит,— подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошо урус! корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус»,— все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамед,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату,— показывает на черноватого.— Абдул-Мурат теперь твой хозяин.— Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину,— всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете,— ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный, на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин,— узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.

Жилин говорит:

— Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите убивайте,— пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди еще,— говорит Жилин переводчику,— скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул как следует, чтоб держал вместе,— нам веселей будет, и чтобы колодку снял.— Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду.— Подскочил, треплет по плечу.— Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется.— Твоя, Иван, хорош,— моя, Абдул, хорош.— А кормил плохо,— только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печенный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше,— отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо»,— говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах,— так она эти лепешки ему тайком приношивала. А то раз резал хозяин барана,— так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков,— одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щелкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит:

— Давай починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял,— и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди полечи».

«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему,— когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» — а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены,— белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.

Пошел раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды — черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит — ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя

убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то, что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал.— Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору,— хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит

что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог.) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали

мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдем в ночь.

— А не дойдем — в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдем.

5

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин,— забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише,— говорит,— иди: сапоги проклятые, все ноги стерли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошел Костылин босиком — еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы,— вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам все идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку,— как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли,— не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — верст

десять еще будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть,— сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронес бог,— вставай, пойдем.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу,— ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны,— он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину,— ноги тоже в крови и уморился. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему... Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил,— не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три, —

пропали.— А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел».

Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с вёрсту. Все лес идет и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин.

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилег он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «надо убить». Абдул спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала; и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выдраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «как придет Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо,— говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят.— Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Все поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает: «побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх,— звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица все машет,— что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил?

— Ну, так прощай,— не поминай лихом.— Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, сама смеется.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень острый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну,— думает,— до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке,— да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нем руками, ищет — куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил ее по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет,— лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары — не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:

— Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

ХОЛСТОМЕР

История лошади

Посвящается памяти М. А. Стаховича [1]

Глава I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но-о! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота.— Куда? — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

---

[1] Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А. А. Стаховичем. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбранили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пущай наперед матки пройдут» — и т. д.

Ворота заскрипели. Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя

друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой,— думал мерин.— Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком»,— рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.

Глава II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности

притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого — не менее двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной

когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Глава III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травою,— щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противуположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается

подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженые шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я молода, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуньи,— а мне не дано было по сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом

и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, расстопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив? ...Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, куп-

ленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи, или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей

зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

. . . . . .

Глава V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

. . . . . .

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедя.

. . . . . .

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий*, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удиви-

тельно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась,— сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками.— Глянь-ка, Тарас,— крикнул он,— пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь, чертенок,— проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь, какой шустрый,— говорил конюх,— не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина,— сказал он,— генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня,— обратился он к моей матери.— Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик,— продолжал он,— в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош,— говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош»,— повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка — Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости

того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесом и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову через плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок,— и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому,— но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленями — и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику, по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не

любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное.— Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI

НОЧЬ 2-я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью,— продолжал пегий,— и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое,— и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала

дичиться меня... ...Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

. . . . . .

. . . . . .

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился ь себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услыхал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастие. Они приближались, и я различал по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись,— но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глу-

бокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми,— теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой через его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый,— сказал он,— ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись,— говорит,— и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял,— но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я

понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например,— и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем

люди: деятельность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело,— именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII

НОЧЬ 3-я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего,— продолжал пегий,— было то, что то, что составляет главную заслугу нашу,— резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» — крикнул он, и когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытали другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадью.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII

НОЧЬ 4-я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» — и толканет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запря-

гали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется, убьет,— нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку в гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — филе. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире,

содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» — «Пади берегись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

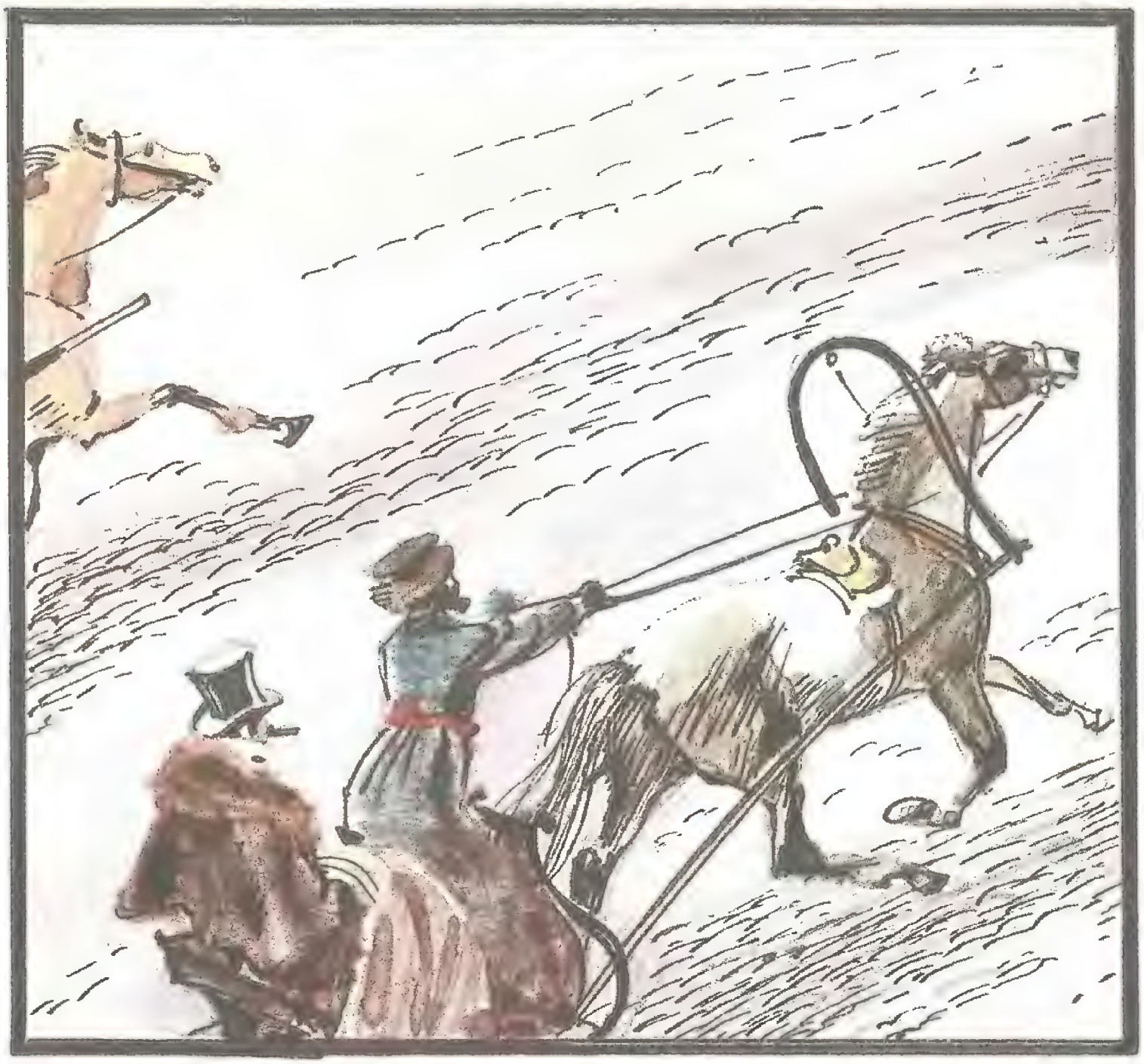
— Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастие. Это было на масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В повороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет,— говорил он,— то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа,— расстегнул полость, сел.

— На Стожинку! — Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда



«ХОЛСТОМЕР»

не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли копыта, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучил меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил — серую в яблоках,— говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья? — хороша,— говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода,— сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смело могу сказать — нет лошади в России,— сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да,— говорил он рассеянно.

— Ты взгляни,— говорил хозяин, не отвечая,— ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж, пойдем?

— Пойдем.— Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот расписной-то! — сказал он.— Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X

. . . . . .

. . . . . .

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III, и мышиные хвостики были напомажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстуке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепьяно incrusté[1]. От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

---

[1] С инкрустацией *(франц.)*.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два мильона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное осуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

— Что, вам ничего сигары, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо.— Он достал сигарочницу.— Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

— Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту,— продолжал нечуткий хозяин.— Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch *eine* Kasten,— сказал он,— dort zwei [1].

Немец-лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все,— продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

— Так во сколько тебе пришелся Атласный? — сказал он.

— Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за флагом оставил.

— Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу,— сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую — две тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду,— сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил, у Воейкова купил,— сказал Серпуховской, как будто небрежно.

---

[1] Принесите еще один ящик, там два *(нем.)*.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел,— сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» — думал Серпуховской. «Непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь»,— думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробудешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить, не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублев, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе...— начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать,— начал он,— что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да,— сказал он.— Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать; это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу — пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал,— неохотно сказал хозяин,— но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть.— Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается; и все кончилось.

— Ну, тогда не было той резвости,— сказал хозяин, пользуясь перерывом.— Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я так теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я.— Серпуховской, когда,— говорят,— ты заведешь рысистых? — Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит.— Да вот не обегает.— Пари тысяча рублей.— Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать,— сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал,— подумал он.— Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая,— сказал он сам себе и захохотал.— То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой — бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется»,— думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтобы нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел

от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят,— подумал он.— Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была,— сказал Васька.

— Кабы посытее, хороша бы кожа была,— сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что́ зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала

несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею.

ХАДЖИ-МУРАТ

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло

заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку,— он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни,— подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок.— Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки,— все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни»,— думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я.— Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирно́й аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими, Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум»,— и открыл лицо.

— Алейкум селям,— улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца,— приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью,— сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были,— ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового»,— отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами.— Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет,— заговорил старик.— Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо,— злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему,— сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо,— сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими краси-

выми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме,— сказал Садо,— моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю,— сказал Садо.— Позови Бату,— обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно,— быстро, весело заговорил Бата.— Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат.— За труды получишь три,— сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо,— сказал Хаджи-Мурат.— Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду,— сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут,— сказал Хаджи-Мурат.

— Айя![1] — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю,— сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо,— сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел.— В Гехах надо вот что,— начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши[2], блины в масле, сыр, чуре́к — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

---

[1] Да! *(тюркск.)*

[2] Пильгиши *(тюркск.)* — пельмени или клецки с начинкой.

— Сыну отдать,— сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано,— сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош,— сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо,— сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает,— повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо,— сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял,— сердито проворчал Панов,— либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь,— сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст,— сказал Панов.

— Известно, офицер хороший,— подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший,— мрачно продолжал начавший разговор,— а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит,— сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек,— подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал...— настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет,— повторил Панов.— Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки деревьев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются,— сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок,— сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья деревьев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч,— вдруг спросил веселый Авдеев Панова,— бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.
— И это было. Да куда денешься?
— Да с чего ж скучаешь-то?
— Я-то? Да по дому скучаю.
— Что ж — богато жили?
— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел [1],— рассказывал Авдеев.— У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо,— сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.
— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная,— заговорил тот, который был пониже. Это был Бата.— Ружье иок [2], шашка иок,— говорил он, показывая на себя.— Кинезь надо.

---

[1] То есть пошел на двадцатипятилетнюю в то время гражданскую службу вместо брата.

[2] Нет *(тюркск.)*.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому,— сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо,— говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем,— сказал Панов.— Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой,— обратился он к Авдееву,— а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри,— сказал Панов,— осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает.— Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь,— сказал Бондаренко.— Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно,— сказал Панов.— А свежо стало,— прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие,— продолжал Авдеев.— Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься,— недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит.— Баранчук[1], говорю, бар? — Бар.— Много? — Парочка, говорит.— Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие,— сказал Никитин,— попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет,— сказал Панов.

— Да уж звездочки потухать стали,— сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все

---

[1] Марýшка *(местн.)* — женщина, жена. Бар *(тюркск.)* — есть. Баранчýк *(разговорн.)* — ребенок.

окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна.— Видите, я вам говорила,—обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили,— улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать,— строго сказал адъютант и стал своей

белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа,— сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски.— Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен,— сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов,— сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно,— сказал адъютант.

— Василий! подайте,— сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать,— пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать,— повторила Марья Васильевна.— Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес?[1] — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами,— сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад,— сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

---

[1] То есть на рубку леса. Во время Кавказской войны русские войска продвигались вперед, прорубая просеки, чтобы предотвратить возможность незаметного приближения противника.

...Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутою.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел,— повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать,— сказал Тихонов,— и в шесть надо уж выступать.

— Вавило,— крикнул Полторацкий.— Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puïs pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi quï vais vous le dire!

— Vous? [1]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалив-

---

[1] — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая...
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты? *(франц.)*

шейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо,— сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом.— Женщина с крыши видела, как ты ехал,— сказал он,— и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо,— сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы,— сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар,— прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо

на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным прóездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте. Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат.— Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить,— сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой,— отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее.— Поберечься надо, гнались за мной,— сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче,— и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что

Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий,— ведь это в цепи! Ну, брат Костя,— обратился он к Фрезе,— твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлече-

нию, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло,— говорил солдат, бывший с ним в паре.— Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он.— Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие,— заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым,— слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те,— пощелкал языком Полторацкий.— Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа,— сказал он.— Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет,— сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты,— сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь,— отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь,— улыбаясь, сказал Полторацкий,— сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело,— в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.
— Неужели не догадываетесь?
— Нет.
— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.
— Не может быть!
— Вчера лазутчик от него был,— сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости.— Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.
— Слушаю,— сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами,— это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо,— чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъ-

ехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то. глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут,— сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий,— как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат,— слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство,— отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внима-

тельно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак,— сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник,— по-французски сказала Марья Васильевна мужу.— Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix [1],— сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau [2],— сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный,— сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине.— Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему,— сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

---

[1] Это ценная вещь *(франц.)*.

[2] Надо будет найти случай отдарить его *(франц.)*.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,— сказала Марья Васильевна мужу.— Он взял, где я взяла.— И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку,— часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre [1],— сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale [2].

---

[1] Вот случай. Подари ему часы *(франц.)*.

[2] — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу *(франц.)*.

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу,— сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне,— отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо,— перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю...— еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности,— заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю...— Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ,— сказал Воронцов,— но...

— Ну, и я погорячился,— сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить

Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили,— рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох,— громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие,— кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану

и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин,— сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина,— напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай [1] живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду,— сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

---

[1] Не замай — пусть (от «не замаять» — не трогать, оставить в покое).

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать,— передразнил отец.— Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся,— проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка,— сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить,— сказала старуха.— Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай,— сказал старик Акиму.— Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Помнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал,— огрызнулся теперь Аким на отца,— а нет его, меня глодаешь.

— Значит, сто́ишь,— так же сердито сказала мать.— Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды,— сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать

сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой,— и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бóльшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама,

красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie,— отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером.— Simon a eu de la chance [1].

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость,— для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно,— о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он,— говорил генерал,— вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий

---

[1] Превосходные, милый друг, Семену повезло *(франц.)*.

подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку,— он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка»,— тут бы все и остались, потому...».

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него,— и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! [1] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет,— сказал Воронцов, улыбаясь,— мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

[1] Какой ужас! *(франц.)*

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre [1].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон,— сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да,— сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю,— сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать,— сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous [2],— сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый,— знаменитый по своей власти,— доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Алек-

---

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

[2] Все это благодаря вам *(франц.)*.

сандра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort [1]. But all is well what ends well [2],— сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на ко-

---

[1] У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ *(франц.)*.

[2] Но все хорошо, что хорошо кончается *(англ.)*.

ричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой,— той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-та-

ки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему,— сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам),— что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата.— До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю,— сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это).— Знаю,— сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои,— продолжал он, обращаясь к переводчику.— Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему,— сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да,— спокойно проговорил Воронцов.— Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику.— Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно,— сказал Воронцов.— Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю,— сказал он еще,— что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет,— не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди.— Прикажи,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно,— только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было,— сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь,— сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах,— начал он.— Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Ша-

миль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов,— не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились,— решительно сказал он и закрыл глаза.— И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать,— сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ.— Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел

сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана»,— сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов.— Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо,— сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш,— сказал он, улыбаясь.— Хороший человек.

— Да, хороший,— сказал Лорис-Меликов.— И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо,— сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит,— сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису.— Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит,— скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его,— быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур,— сказал Хан-Магома.— Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь

народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые,— не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь,— говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят,— сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль,— сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы,— отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал,— оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это,— строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет,— подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги,— сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл,— быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек,— оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат,— думал Лорис-Меликов,— умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет,— отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова.— Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня,— сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова.— Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе,— сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно,— сказал Лорис-Меликов.— А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый,— прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек,— сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце,— начал Хаджи-Мурат.— Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам.

Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались,— остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид,— тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо,— продолжал он,— потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе,— и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат

убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он.— Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат.— И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо,— прочитал Лорис-Меликов.— Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить,— я уже приказал

это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам,

я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хад-

жи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней,— будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова[1], достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,—

---

[1] Граф Михаил Тариелович. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

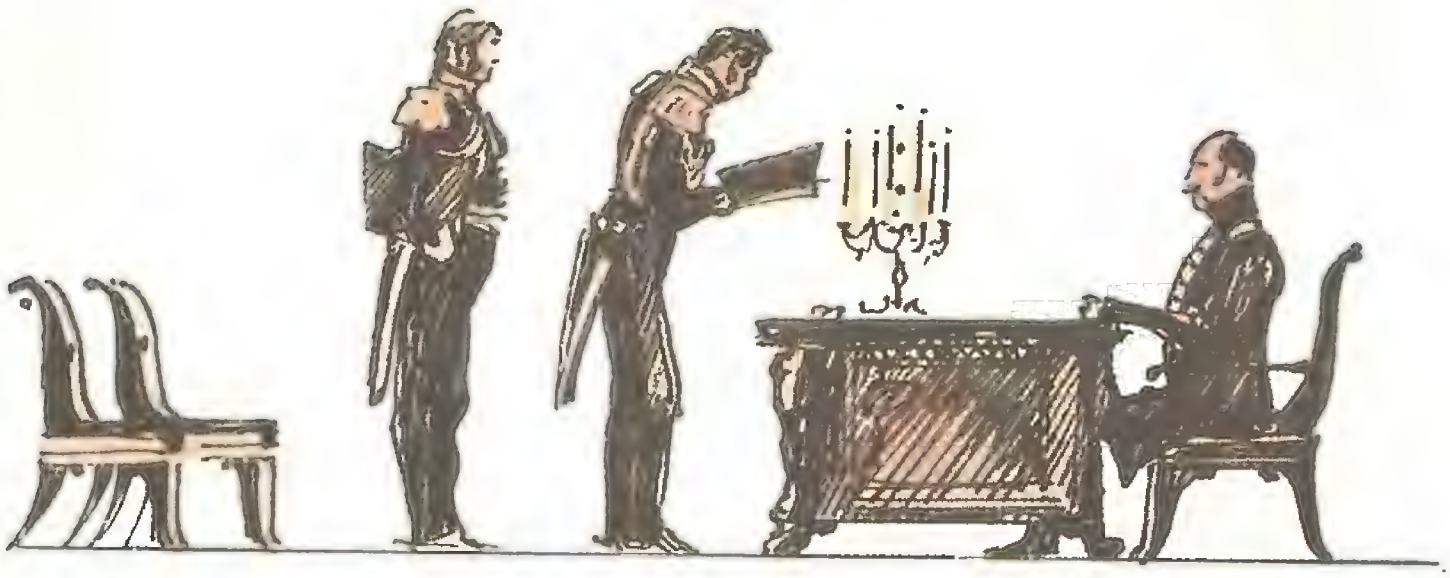
Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu[1], главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться

---

[1] Выскочка *(франц.)*.



«ХАДЖИ-МУРАТ»

им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur?[1] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer[2],— очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрас-

---

[1] Император? *(франц.)*

[2] Его величество только что вернулись *(франц.)*.

ным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un [1],— сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприят-

[1] Здесь кто-то есть *(франц.)*.

ная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения,— и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн,— повторял он несколько раз имя вчерашней девицы.— Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства.— Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я»,— опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как,— сказал Николай.— Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней,— несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической

академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик,— отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного,— сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «*Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай*»,— подписал он своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот,— сказал он.— Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании,— прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем»,— подумал он.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами,— сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая.— Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал,— насмешливо сказал Николай.— А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным,— сказал он.— А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для

выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и между прочим поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie,— сказал Ливен.— Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chacun de ces deux pays [1].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

---

[1] Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран (*франц.*).

— Vous dites la Pologne,— сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maître de Maeternich de nous en avoir laisse d'embarras...[1]

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз

[1] — Вы говорите, Польша.

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... *(франц.)*

только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается,— весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен

быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь

в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка,— говорил майор в промежутке песни.— Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как воснялась заря»,— скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшеоа, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый,— сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник,— сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды,— сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул,—ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его,— сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли,— сказала Марья Дмитриевна.— Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь,— сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия,— сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе.— Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича,— сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо,— сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, заку-

рил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом.— Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов,— закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер?— поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,— сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему.

Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный

чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал

двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним,— все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина,— Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посредине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому,

Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь,— сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутле-

ру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя,— сказал он.

— Он говорит, что да,— отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются,— сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть,— сказал он переводчику,— угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном,— оба голодные остались.— Он улыбнулся.— Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену.— Когда увидимся?

— Прощай! прощай,— улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат.— Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел,— сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю,— сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку.— Дай бог вам сына выручить. Улан якши,— прибавила она.— Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли

за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидев Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело.— Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон,— передал переводчик слова Хаджи-Мурата.— Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж,— убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай,— сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка,— сказал он, обращаясь к ней,— спасиб.

— Дай бог, дай бог семью выручить,— повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она.— Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич.— Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер.— Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не

могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во

всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него,— говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры,— сказал он.— Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как...— здесь голос его задрожал,— я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза.— От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо»,— думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал,— сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме

лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь,— сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре.— Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.— И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос:

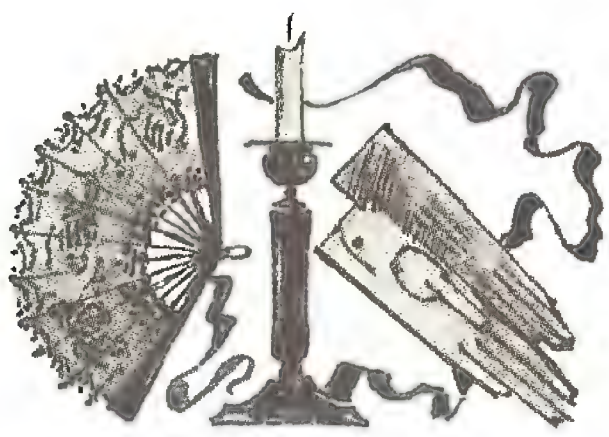
— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать,— сказал пристав.— Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз



«ПОСЛЕ БАЛА»

башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат.— Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бо-

роться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово,— сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда

услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было,— было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердил-

ся и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку,— сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог

более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней,— сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги.

Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать,— дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это,— сказала Марья Дмитриевна.— Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый,— сказал Каменев.— А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил,— кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право,— сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть,— сказал Бутлер, не зная, что говорить.— На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна.— Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право,— повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат са-

дился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие,— ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик,— тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел прóездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним,— сказал Ферапонтов.— Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню,— сказал Назаров.

— Как же, перегонишь,— сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прóездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти,— сказал Игнатов.— Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с пр́оезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что же это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь.— Бей их, ребята,— проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были

уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было сбращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата.— Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого

с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат»,— подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не по-

падали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был

Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки,— в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог

понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

ПОСЛЕ БАЛА

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да,— сказал он.— Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б...,— Иван Васильевич назвал фамилию.— Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать,— перебила его одна из собеседниц.— Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шам-

панского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore» [1]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не толькое свое, но и ее тело,— сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr [2],— хороший был писатель,— на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как

---

[1] Еще *(франц.)*.

[2] Альфонс Карр *(франц.)*.

прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к месту.

— Разумеется, если меня не увезут,— сказала она, улыбаясь.

— Я не дам,— сказал я.

— Дайте же веер,— сказала она.

— Жалко отдавать,— сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели,— сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папа́ просят танцевать,— сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда,— услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, ma chère[1], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич,— обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I[2] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, гово-

---

[1] Дорогая *(франц.)*.

[2] Как у Николая I *(франц.)*.

ря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку,— «надо всё по закону»,— улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками,— хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные»,— думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней,— сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, не-

смотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «*Гордость? да?*» — и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до поло-

вины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных

сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими,— все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье»,— подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег,— сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с

этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О господи,— проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу,— услыхал я его гневный голос.— Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю,— думал я про полковника.— Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал»,— думал я и старался

узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились,— сказал один из нас.— Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости,— с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите...— закончил он.

Комментарии

ДЕТСТВО

Стр. 21

В Москве зимой 1850/51 года Толстой жил в небольшом двухэтажном доме на углу Сивцева Вражка и Плотникова переулка. Здесь в марте 1851 года он начал и закончил первую редакцию повести «Детство». (См.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 гг. М., 1954, с. 285.)

Завершил работу над «Детством» Толстой уже на Кавказе, в станице Старогладковской.

Создавая одну за другой четыре редакции «Детства», Толстой одновременно составил два подробных плана романа «Четыре эпохи развития». Эти планы показывают, что «Детство» должно было явиться первой частью романа, вслед за которой автор намеревался написать повести «Отрочество», «Юность» и «Молодость».

В планах романа «Четыре эпохи развития» автор определил «основные мысли сочинения» («резко обозначить характеристические черты каждой эпохи»). Столь же четко была определена «форма сочинения» («автобиография младшего брата»). Здесь же Толстой обозначил различия в характерах двух братьев, отведя им ведущую роль в произведении (один из них склонен «к анализу и наблюдательности», второй — «к наслаждениям жизни»). Не менее точно в планах обозначены состав основных действующих лиц («лица в 1-й части: отец, мать, два сына, дочь»), главные события, которые должны быть описаны, и т. д.

Так, при создании уже первого произведения обозначились такие характерные черты творческого процесса Толстого, как составление планов, конспектов и т. п. В самом начале творческого пути Толстой выступает перед нами как «художник мысли» (так назовет его Горький в 900-е годы).

Замысел романа «Четыре эпохи развития» не получил полного осуществления: повесть «Юность» была написана наполовину, а «Молодость» и совсем не была написана. Молодого автора, участвовавшего в трех войнах — Кавказской, Дунайской и Крымской,— захватила военно-патриотическая. героическая тема.

Повесть «Детство» была напечатана в девятой книжке «Современника» за 1852 год под названием, которое дала ей редакция журнала: «История моего детства». Кроме того, цензура заставила выбросить из повести историю Натальи Савишны и заменить некоторые слова и отдельные фразы. Все это огорчило Толстого. «Кому какое дело до истории *моего* детства? — жаловался Толстой в письме к редактору «Современника» Н. А. Некрасову.— Я хотел, чтобы «Детство» было первой частью романа...»

Н. А. Некрасов напечатал первое законченное произведение Толстого, еще не зная имени и фамилии автора. (Толстой «скрылся» за инициалами «Л. Н.».) Некрасов горячо одобрил «Детство» и просил прислать в журнал продолжение романа. Письма Некрасова, благоприятные отзывы критиков о первой напечатанной вещи воодушевили молодого автора на продолжение начатого труда.

Часть кратких пояснений отдельных слов в повести «Детство» и других произведениях Толстого заимствованы из книги: Л. Н. Толстой, Избранные произведения. М., Детгиз, 1960 (2-е изд., 1977).

ГЛАВА I. УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

Стр. 23

Рекреация — перерыв между учебными занятиями, каникулы.

Семилетняя война — война 1756—1763 годов, которую вели за обладание колониями Пруссия и Англия с одной стороны, Австрия и Франция — с другой.

В пергаменте — в переплете из пергамента (кожи животных, обработанной особым способом).

«Северная пчела» — газета, выходившая в Петербурге с 1825 по 1864 год.

Кардон — картон.

Стр. 24

Ландкарта — географическая карта.

ГЛАВА II. MAMAN

Стр. 27

Официантская — помещение для слуг.

ГЛАВА III. ПАПА

Стр. 28

Экономия — здесь: хозяйство, имение.

ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ

Стр. 33

Юродивый — человек с больным рассудком, совершавший странные поступки, произносивший непонятные, лишенные смысла фразы. Юродивые нередко выдавали себя за людей «святой» жизни, подвергались лишениям, носили на голом теле железные цепи — вериги.

ГЛАВА VI. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ

Стр. 37

Клепер — порода лошади.

Стр. 38

Эволюции — здесь: движения.

Выжлятник — старший псарь, распоряжавшийся гончими.

Стремянный — конюх, ухаживавший за верховой лошадью своего господина, а также ведавший сворой охотничьих собак.

ГЛАВА VII. ОХОТА

Стр. 38

Доезжачий — слуга, ведавший псарней.
Арапник — охотничий кнут для собак.

Стр. 39

Бирки — деревянные дощечки, на которых зарубками и нарезками обозначался счет предметов или мера.
Поярковый — сделанный из шерсти молодой овцы.
Остров — здесь: окруженное полями лесистое или болотистое место, удобное для псовой охоты.
Второчить смычки — привязать к седлу веревки (смы́чки), которыми гончих собак связывали попарно.

Стр. 40

Гончие варили вором — преследовали зверя с неумолкаемым лаем.

ГЛАВА X. ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?

Стр. 45

Поручик — офицерский чин в русской армии.
Патетический — полный чувства, волнующий.

ГЛАВА XII. ГРИША

Стр. 48

Нанковый — сделанный из нанки — грубого домотканого сукна.

ГЛАВА XIII. НАТАЛЬЯ САВИШНА

Стр. 50

Затрапезное платье — будничное, сшитое из грубой ткани.

Стр. 51

Гербовая бумага — особая бумага с изображением государственного герба.
Вольная — документ, подтверждающий, что крепостной отпущен господином на волю.

Стр. 53

Корнет — здесь: мешочек, пакетик, свернутый из бумаги.

ГЛАВА XIV. РАЗЛУКА

Стр. 54

Черепенники — гречневики, блины, подававшиеся на стол горкой, стопкой.

Почтовые лошади — лошади с почтовой станции, служившие для дальних поездок.

ГЛАВА XVI. СТИХИ

Стр. 60

Веленевая бумага — плотная, высокого качества бумага.

Стр. 61

Штрипка — тесьма, пришивавшаяся к концам брюк и охватывавшая ступню под башмаком.

ГЛАВА XVIII. КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ

Стр. 67

Эполеты — парадные, округлые на концах погоны с шитьем и завитушками из крученой канители.

ГЛАВА XX. СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ

Стр. 75

Ванька — прозвище извозчиков в прошлом веке.

Ливрейная рука — рука слуги, одетого в ливрею — парадную одежду.

Салоп — верхняя женская одежда.

Стр. 76

Хвосты — здесь: род меховых воротников.

ГЛАВА XXI. ДО МАЗУРКИ

Стр. 79

Ангажировать — приглашать; здесь: пригласить к танцу.

ГЛАВА XXII. МАЗУРКА

Стр. 82

Фатальные — роковые, злополучные.

ГЛАВА XXIII. ПОСЛЕ МАЗУРКИ

Стр. 84

Гросфатер — старинный танец с медленными, плавными движениями. (В переводе с немецкого — «дедушка».)

ГЛАВА XXVIII. ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Стр. 101

Причт — служители в церкви.

ОТРОЧЕСТВО

Стр. 105

Над повестью «Отрочество», как и над повестью «Детство», Толстой работал более года. «Пишу «Отрочество» с такой же охотой, как писал «Детство»,— отметил он в дневнике 22 мая 1853 года.— Надеюсь, что будет так же хорошо».

В августе 1854 года Толстой отправил рукопись Н. А. Некрасову, сообщив ему, что дорожит «Отрочеством» не менее, а более, нежели «Детством».

Некрасов писал автору: «Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать... Талант автора «Отрочества» самобытен и симпатичен в высшей степени... Такие вещи, как описание летней дороги и грозы или сидение в каземате и многое, многое, дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе».

«Отрочество» было напечатано в десятом номере «Современника» за 1854 год. В 1856 году повести «Детство» и «Отрочество» вышли отдельной книжкой. В рецензии на это издание Н. Г. Чернышевский подчеркивал, что произведения Толстого привлекают свежестью и чистотой нравственного чувства. «Только при этой непосредственной свежести сердца,— писал Чернышевский,— можно было рассказать «Детство» и «Отрочество»... Без непорочности нравственного чувства невозможно было не только исполнить эти повести, но и задумать их».

В той же статье Чернышевский указал на отличительную черту таланта Толстого — его умение необычайно глубоко проникать во внутренний мир человека, в его психологию, показывать самый процесс психической жизни, изображать «диалектику души».

ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ

Стр. 110

Дворник — здесь: содержатель постоялого двора.

ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Стр. 127

Ульм — город и крепость в Германии. Осенью 1805 года войска Наполеона окружили под Ульмом австрийскую армию генерала Макка, заставив ее сдаться.

Аустерлиц — немецкое название города Славков (Чехословакия). Здесь в 1805 году произошло крупное сражение между русско-австрийскими и французскими войсками, описаниое Толстым в «Войне и мире».

Вагpам — местечко в 17 километрах от Вены, где летом 1809 года французские войска победили австрийскую армию эрцгерцога Карла.

ГЛАВА XIX. ОТРОЧЕСТВО

Стр. 154

Шеллинг Фридрих Вильям (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

ГЛАВА XXVII. НАЧАЛО ДРУЖБЫ

Стр. 169

Карр Жан-Альфонс (1808—1890) — французский писатель-сатирик.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 171

В начале ноября 1854 года Толстой приехал в осажденный Севастополь. Мужество и выдержка защитников города-крепости произвели на него сильнейшее впечатление. «Взять Севастополь нет никакой возможности»,— записывает он в дневнике.

Этой уверенностью проникнут первый севастопольский рассказ Толстого — «Севастополь в декабре месяце». Сначала автор назвал его «Севастополь днем и ночью», предназначая рассказ для журнала «Военный вестник», который он вместе с другими передовыми офицерами Крымской армии решил издавать для солдат и матросов. Царь не разрешил издание «Военного вестника», и тогда Толстой отправил рукопись рассказа в Петербург Н. А. Некрасову.

«Севастополь в декабре месяце» был напечатан в шестом номере «Современника» за 1855 год. «Статья эта написана мастерски,— писал Некрасов автору,— интерес ее для русского общества не подлежит сомнению,— успех она имела огромный... Пожалуйста, давайте нам побольше таких статей!» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 221—222.)

«Статья Толстого о Севастополе — чудо! — писал И. С. Тургенев.— Я прослезился, читая ее, и кричал: ура!» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2. М., 1961, с. 297.)

Летом 1855 года за восемь дней Толстой написал второй рассказ о Севастопольской обороне — «Севастополь в мае». В нем отразилась его тревога за исход войны и за судьбу города «Дух упадает ежедневно,— записал Толстой в дневнике 21 апреля 1855 года,— и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом».

Резкое обличение офицеров-аристократов в этом рассказе испугало цензуру. Председатель цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин вычеркнул из него целую главу и многие фразы, а затем объявил свое решение: «Эту статью за насмешки над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя запретить...»

Редакция «Современника» все же добилась разрешения на печатание рассказа «Севастополь в мае». Он появился в девятой книжке журнала за 1855 год под измененным заглавием «Ночь весной 1855 г. в Севастополе» и без указания имени автора. Как подсчитали исследователи, цензура вычеркнула из рассказа 37 процентов текста. (См.: В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936, с. 56.)

Но и в изуродованном цензурой виде «Севастополь в мае» произвел сильное впечатление на современников. Рассказ этот исполнен «трезвой и глубокой правды», писал Н. А. Некрасов. «Страшная вещь!» — таково было мнение Тургенева о «Севастополе в мае». И. И. Панаев, принимавший участие в редактировании «Современника», писал Толстому в Севастополь: «Присылайте рассказы к следующим книжкам. Вы не можете себе представить, с какой жадностью читает их вся Россия».

Через полгода после напечатания «Севастополя в мае» Толстой пишет рассказ «Севастополь в августе 1855 года», завершивший цикл его произведений о героической обороне города-крепости.

«Севастополь в августе» передает горькие переживания защитников города, вынужденных оставить его. «То, что мы видели в эту ночь, не в состоянии передать слово человеческое. Для нас, бывших севастопольцев, она до сих пор перед глазами». Так писал один из боевых соратников Толстого А. И. Ершов в книге «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» (Спб., 1891).

Толстой командовал взводом горных орудий в сражении 4 августа 1855 года на Черной речке. В конце августа и начале сентября он участвует еще в двух сражениях, командуя батареей из пяти орудий и горным взводом. За боевые заслуги ему присвоили тогда чин поручика.

По поручению начальства Толстой составляет «Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками», пользуясь личными наблюдениями и сведениями, полученными от других участников событий.

Если в «Донесении» Толстой сугубо по-военному оценивает последние сражения за город, то в рассказе «Севастополь в августе» о тех же событиях говорит писатель-патриот, глубоко уверенный в том, что враг не долго будет владеть захваченным городом.

И действительно, армия союзников, вошедшая в Севастополь, была настолько измучена и обескровлена, что не могла рассчитывать на то, чтобы закрепиться на русской земле. Как пишет Франц Меринг, «в конце концов победителям пришлось «выпрашивать» у побежденной России позволения беспрепятственно увезти свои войска домой». (Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, с. 264.)

«Севастополь в августе 1855 года» был напечатан в январской книжке «Современника» за 1856 год. Найдя «достоинства... первоклассные» в рассказе, Некрасов особенно высоко оценил в нем образ Володи Козельцова — юного героя, павшего смертью храбрых. Его образ, писал Некрасов, всегда будет дорог русским матерям, потерявшим сыновей на поле брани и «счастлив писатель, которому дано трогать такие струны в человеческом сердце!».

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Стр. 171

Сапун-гора — возвышенность к юго-востоку от Севастополя.

Восьмая склянка — время, отмечаемое на кораблях ударами в колокол; здесь: четыре часа утра.

Маджара — большая четырехколесная повозка
Туры — плетенки из прутьев, наполнявшиеся землей.

Стр. 172

Графская — пристань на Городской стороне Севастополя.
Бон — заграждение из бревен, скрепленных цепями и канатами, защищавшее вход в бухту.

Стр. 173

Сбитень — горячий напиток из меда с пряностями.
Амбразура — здесь: отверстие в укреплении, служившее бойницей для орудий.
Фуршатский солдат — нестроевой солдат из военного обоза.

Стр. 174

Бастион — оборонительное укрепление, выдвинутое вперед в виде выступа крепости.

Стр. 175

Корпия — нащипанные из чистых тряпок нитки, заменявшие вату при перевязке ран.

Стр. 177

Хоругви — здесь: войсковые знамена.
Бретёр — забияка, дуэлянт.
Комендор — в морской артиллерии старший солдат у орудия.

Стр. 178

Мичман — первый офицерский чин во флоте.
Пластун — пеший казак из команды, несший разведочную и сторожевую службу.

Стр. 179

Штуцер — ружье с нарезным стволом.

Стр. 180

Бруствер — земляной вал для защиты от пуль и осколков.
Аффектация — преувеличенность, чрезмерность выражения чувств.

Стр. 183

Траверс — поперечный вал (насыпь) внутри укрепления для защиты от обстрела с флангов.

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

1

Стр. 184

Зеленая гора — высота к югу от Севастополя, на которой были размещены английские батареи.

2

Стр. 185

Опойка (опоек) — тонкая кожа, выделанная из телячьих шкур.

Квартермистр (квартирмейстер) — офицер, ведавший размещением войск и хозяйством воинской части.

«Инвалид» («Русский инвалид») — официальная военная газета, выходившая с 1815 по 1917 год.

Стр. 186

Георгиевский крест, или Георгий,— знак ордена, которым награждались офицеры и солдаты за большую личную храбрость.

3

Стр. 189

«Снобсы» и «Ярмарка тщеславия» — романы английского писателя В. Теккерея (1811—1863).

4

Стр. 191

Амазонка — здесь: женщина-наездница.

Портер — крепкое пиво.

Ложемент — ров, окоп.

5

Стр. 194

Лейб-улан — гвардейский улан. Как и гусары и драгуны, уланы принадлежали к легкой коннице в отличие от тяжелой (кавалергарды, кирасиры, конногвардейцы).

Ротмистр — кавалерийский офицер; чин, соответствовавший пехотному капитану.

Стр. 195

Принципал — начальник, глава, хозяин.

Стр. 196

Л ю н е т — небольшое полевое укрепление.

Ф о р т и ф и к а ц и о н н ы й — относящийся к военно-инженерной науке об устройстве укреплений.

7

Стр. 199

С и к у р с — резервные войска, подкрепления.

Стр. 200

А с с и с т е н т — помощник; здесь: сопровождающий раненого.

9

Стр. 202

М а р ш - м а р ш (кавалерийское) — самая быстрая скачка.

Стр. 205

Б а н к е т — здесь: приступок у крепостного вала для стрельбы из ружей.

11

Стр. 208

Э л е в а ц и о н н ы й с т а н о к — приспособление для орудийной стрельбы.

15

Стр. 216

К а з а р с к и й А. И.— командир военного брига; погиб в морском бою в мае 1824 года.

16

Стр. 219

З у а в ы — французская пехота, состоявшая из туземцев Алжира (племя зуауа).

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

Стр. 222

В о л о н т е р — доброволец.

2

Стр. 224

К о р а б е л ь н а я с т о р о н а — часть Севастополя, отделенная от города Южной бухтой.

3

Стр. 225

Малахов курган — одно из центральных укреплений оборонительной линии Севастополя.

Стр. 226

Корпус (кадетский корпус) — среднее военное учебное заведение.

4

Стр. 226

Архалук — короткий кафтан.

5

Стр. 228

Прогоны — деньги для оплаты проезда на почтовых (казенных) лошадях.

Стр. 229

Масонские ложи — тайные организации религиозно-мистического общества.

Погребец — дорожный сундучок для провизии и посуды.

6

Стр. 231

Тотлебен Э. И. (1818—1884) — генерал-адъютант, военный инженер, один из героев обороны Севастополя.

Кивер — высокий головной убор из твердой кожи.

8

Стр. 234

Бельбек — река, текущая параллельно Большой Севастопольской бухте.

Пелиссье Жан-Жак — с мая 1855 года главнокомандующий французскими войсками, осаждавшими Севастополь.

Горчаков М. Д. (1793—1861) — генерал-адъютант, главнокомандующий Крымской армией. Л. Н. Толстой был его дальним родственником.

9

Стр. 236

Ассигнация — вид бумажных денег.

Комиссионер — посредник в торговых операциях.

Стр. 238

«Лючия ди Ламмермур» — опера итальянского композитора Доницетти (1797—1848).

10

Стр. 239

Понтоны — плоскодонные суда, служившие для наводки плавучих мостов.

Стр. 241

Николаевская батарея — наиболее мощная из крепостных батарей Севастополя, находившаяся на Южной стороне.

13

Стр. 245

Тесак — холодное оружие с широким обоюдоострым клинком.

Ящичные — лошади в артиллерии, перевозившие ящики со снарядами.

Стр. 246

Фуражир — служащий, ведавший закупкой и раздачей корма для лошадей.

15

Стр. 249

Лафит — сорт красного виноградного вина.

Стр. 250

Субординация — подчинение младшего чина старшему.

16

Стр. 251

Шанец (шанц) — временное полевое укрепление, окоп.

17

Стр. 252

Понтировать — ставить на карту известную сумму против банкомета.

Стр. 253

Талия — здесь: круг карточной игры, завершаемый чьим-либо выигрышем.

18

Стр. 256

Р е л я ц и я — письменное донесение о ходе военных действий.

21

Стр. 260

«О т е ч е с т в е н н ы е з а п и с к и» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге с 1839 по 1884 год.

Стр. 261

К о р н и л о в с к а я б а т а р е я — стояла на Малаховом кургане. Место, где был смертельно ранен один из руководителей и героев Севастопольской обороны вице-адмирал В. А. Корнилов (1806—1854).

В о л к о в о п о л е — стрельбище в Петербурге.

22

Стр. 262

К а н т о н и с т — сын солдата, со дня рождения принадлежавший военному ведомству.

К а в а л е р — здесь: солдат, награжденный орденом.

Стр. 264

П о г р е б н о й — солдат, служивший на пороховом складе (погребе).

27

Стр. 271

А л е к с а н д р о в с к а я б а т а р е я — береговая батарея на Южной стороне Севастополя.

МЕТЕЛЬ

Стр. 274

В конце января 1854 года Толстой возвращался с Кавказа домой, в Ясную Поляну. Железной дороги, соединяющей Кавказ с Россией, тогда еще не было, и Толстой ехал на лошадях. В пути его застала метель, из-за которой он «плутал целую ночь».

Отметив в дневнике этот случай, Толстой добавил: «И мне пришла мысль написать рассказ «Метель». Тогда же в дневнике появилась такая запись: «Ничто так не порадовало меня и не напомнило мне Россию доро́гой, как обозная лошадь, которая, сложив уши, несмотря на раскаты саней, галопом старалась обогнать мои сани».

Рассказ «Метель» проникнут бодрым и сильным чувством любви к родной русской земле. Картина снежного бурана нарисована художником так выразительно, что читатель словно бы сам видит густые хлопья непрерывно

падающего снега, засыпающего лошадей, сани, ямщиков, слышит сквозь однообразный свист ветра «заливистое» звучание колокольчиков и веселый голос молодого ямщика Игнашки, поющего удалую песню.

Толстой прочел «Метель» в редакции журнала «Современник», где рассказ вызвал общее одобрение. И. С. Тургенев и С. Т. Аксаков, давшие незабываемые описания русской природы, называли рассказ Толстого «превосходным». А у жившего в эмиграции А. И. Герцена «Метель» всколыхнула воспоминания о давно покинутой родине, и он назвал рассказ «чудом».

Напечатана была «Метель» в третьем номере журнала «Современник» за 1856 год.

I

Стр. 274

Полость — здесь: покрывало для ног седока в санях.
Станица — большое казачье селение.

Стр. 275

Позёмная (позёмка) — метель, вьюга, во время которой сильный ветер метет снег над самой землей.

Стр. 276

Заметь (заметуха) — то же, что позёмка.

II

Стр. 276

Охотницкий — здесь: любительский.

Стр. 277

Терция — третья ступень в музыкальной гамме.
Квинта — пятая ступень.

III

Стр. 279

Господский — здесь: помещичий, крепостной крестьянин.

IV

Стр. 280

Черепок — здесь: ледяной слой на земле.

Стр. 282

Косушка — полбутылки водки или вина.

V

Стр. 283

Валёк — здесь: деревянный брус, на который надеваются концы постромок пристяжных лошадей.

VI

Стр. 285

Посконная юбка — сшитая из домотканого холста.

Стр. 287

Камола — деревянные шесты, к ним прикрепляются крылья невода.

Стр. 288

Арника — растение, примочка из которого употребляется при ушибах и ранениях.

VII

Стр. 291

Фистула — неестественно высокий звук мужского голоса.

XI

Стр. 297

Целовальник — сиделец, продавец вина в кабаке.

ТРИ СМЕРТИ

Стр. 299

Рассказ «Три смерти» был написан Толстым за несколько дней и очень ему нравился. В письме к своей родственнице, А. А. Толстой, автор так объяснил то, что он хотел сказать в своем произведении: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить?.. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво,— потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет.— Вот моя мысль, с которой Вы, разумеется, не согласны, но которую оспоривать нельзя».

Однако не всем читателям был понятен этот авторский замысел. Об этом писал Толстому Тургенев в феврале 1859 года: «Три смерти» — здесь вообще понравились,— но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают,— недовольны». (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 3. М.—Л., 1961, с. 270—271.)

Рассказ «Три смерти» впервые был напечатан в журнале «Библиотека для чтения» (1859, № 1). Подробный и тонкий его анализ дал известный критик Д. И. Писарев, высоко оценивший художественное мастерство Толстого, его умение глубоко проникать в психологию человека, изображать его внутренний мир.

I

Стр. 301

Д у х о в н и к — священник, исповедующий больного или умирающего.

II

Стр. 303

Ш а б а л а — врун, болтун, пустомеля.

III

Стр. 305

Е п и т р а х и л ь — часть облачения священника.

Стр. 308

П е с н и Д а в и д а — поэтические библейские псалмы, приписываемые царю Давиду.

IV

Стр. 309

В а г а — длинный шест, служивший рычагом для поднятия тяжестей.

ПОЛИКУШКА

Стр. 310

События, описанные в рассказе «Поликушка», произошли в псковском имении князей Дондуковых-Корсаковых. До Толстого дошли разговоры об этом. Но прототипами героя рассказа мужика Поликея и других персонажей послужили для писателя крепостные крестьяне и дворовые, жившие в деревне и усадьбе Ясная Поляна.

В записных книжках Толстого конца 50-х годов не раз упоминается имя дворового крестьянина Поликея. В рассказе некоторые образы носят фамилии яснополянских крестьян. Это Дутловы, Ермилины, Копыловы, Резуновы, жизнь и быт которых Толстой знал очень хорошо. То же можно сказать

об образах бывшей горничной Агафьи Михайловны, приказчика Егора Михайловича.

Как вспоминает старший сын писателя, С. Л. Толстой, описанный в рассказе десятиаршинный «флигель», в одном из углов которого ютился со своей семьей Поликушка, похож на помещение для дворовых в Ясной Поляне. Даже ширококостная негая лошадь Барабан была в Ясной Поляне. Как помечено в записной книжке Толстого, она по старости была отпущена «на корм».

Правдиво рисуя живую, реальную жизнь, Толстой не оставался равнодушным бытописателем. У каждого, кто прочитает «Поликушку», не остается ни малейшего сомнения в том, что Толстой страстно и до конца осуждает крепостнический строй, горячо негодует против порядков, при которых люди вынуждены жить так, как жил несчастный Поликушка.

Рассказ этот появился в свет через два года после падения крепостного права, когда еще вовсю кипела борьба вокруг решения «крестьянского вопроса», и дворяне всеми силами противились проведению «реформ». Толстовский рассказ воспринимался в ту пору, как «отходная» строю рабства и насилия, каким было крепостничество. И не случайно консервативная газета «Сын отечества» увидела в «Поликушке» ни более ни менее, как «клевету на жизнь» (15 апреля 1863 г.). Дворяне-крепостники заставили Толстого уйти из мировых посредников, возмутившись тем, что все спорные вопросы между помещиками и «освобожденными» от крепостной зависимости крестьянами он решал в пользу крестьян. Не мудрено, что такие произведения писателя, как «Поликушка», встречались критиками-крепостниками в штыки.

I

Стр. 310

Набор — рекрутский набор: ежегодно каждая деревня должна была выделять определенное число рекрутов (новобранцев, призываемых в солдаты).

Стр. 311

Тройник — крестьянин, имевший трех взрослых сыновей.

Рюш — сборчатая обшивка из легкой ткани.

Оппозиция (в буржуазном парламенте) — партия, не имеющая большинства голосов, ведущая борьбу с господствующей партией (не затрагивая основ строя).

Сакраментальный — священный, обрядовый; здесь это слово употреблено в ироническом смысле.

Стр. 312

Двойниковый жребий — на сдачу в рекруты; его «тянули» крестьяне, имевшие по два взрослых сына.

II

Стр. 313

Протекция — покровительство, поддержка со стороны влиятельного лица.

Стр 314

Коновал — неученый конский лекарь.

Мéсячина — продукты, выдававшиеся помещиками дворовым крепостным.

Насос (у животных) — опухоль неба.

Стр. 316

Стрелка — здесь: раздвоение нижней части копыта.

Ланцет — медицинский инструмент.

III

Стр. 317

Запал (у животных) — болезнь легких.

Специя — здесь: лекарственное снадобье.

Стр. 318

Чубучок (чубук) — полый стержень с трубкой для курения.

IV

Стр. 320

Горка — этажерка для дорогой посуды.

V

Стр. 322

Вырезки накладать — здесь: делать зарубки.

Стр. 323

Бражничать — пировать, пьянствовать.

Сотский — низший чин сельской полиции.

Лоб забрить — сдать в солдаты (рекрутам подбривали лбы).

Стр. 324

Селище — поселение с примыкавшей к нему землей.

VI

Стр. 325

Веретье — подстилка для телеги или саней, сшитая из грубого холста.

Тягло — здесь: крепостная семья (муж и жена), составлявшая податную единицу.

Стр. 326

Лутошка — посошок из липы, очищенный от коры (лыка).

VII

Стр. 327

Потник — войлок, подкладываемый под седло.

Стр. 328

Дворня — здесь: часть усадьбы, где жили дворовые.
Гуртовщик — здесь: скупщик скота.

VIII

Стр. 330

«Еще, бог даст, затылок» — рекрутам, признанным негодными для военной службы, подбривали не лоб, а затылок.

IX

Стр. 334

Плис — дешевая ворсистая ткань, по выделке сходная с бархатом.
Грядка — здесь: боковые брусья телеги или саней.

X

Стр. 336

Зазимок — первый снег.

XI

Стр. 338

Пелеринка — короткая накидка без рукавов.

Стр. 340

Бенгальский огонь — род фейерверка.

XII

Стр. 341

Псалтырь — одна из церковных книг.
Кафизма (кафисма) — одна из частей псалтыри.
Боров — здесь: горизонтальная часть дымохода.

Стр. 342

Спуск — лечебная мазь домашнего изготовления.

XIV

Стр. 347

Становой (становой пристав) — полицейский, ведавший несколькими волостями (станами).

Исправник — начальник уездной полиции.

Стр. 348

Ставка — здесь: место сдачи новобранцев.

Альбинос (ка) — человек с болезненной белизной кожи и волос.

Юлия Пастрана — женщина с лицом, покрытым волосами.

XV

Стр. 352

Магарыч — добавочное, сверх договоренности, вознаграждение.

Присутствие — здесь: рекрутское присутствие, учреждение, ведавшее набором рекрутов.

Сибирка — род короткого кафтана со сборками и невысоким стоячим воротником.

Стр. 354

Штоф — старинная мера вина ($^1/_{10}$ ведра, две бутылки).

КАЗАКИ

Стр. 357

Приехав в начале 50-х годов на Кавказ, Толстой увлеченно знакомился с жизнью казаков, несших сторожевую службу на границе и поэтому не знавших власти помещиков-крепостников. В апреле 1852 года Толстой отметил в дневнике сильное впечатление, вынесенное им от беседы с «умным мужиком» из казачьей станицы Большая Орешевка: «Они довольны своим житьем... После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько — выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете».

«Брошюрку» ни тогда, ни позже Толстой не написал, а мысли «об этом предмете» вложил в повесть из казачьей жизни, начатую весной 1853 года. Работа над нею проходила с большими перерывами. Повесть «Казаки» была закончена лишь в 1863 году — через десять лет после того, как Толстой написал ее первую редакцию под заглавием «Беглец». (А всего в архиве писателя сохранилось шесть редакций начала повести.)

Почти три года молодой Толстой провел в станице Старогладковской. Как и герою повести, молодому офицеру Оленину, Толстому очень нравилась

простая и вольная жизнь гребенских казаков. Его захватила мечта поселиться в станице, жениться на казачке, завести хозяйство, навсегда порвать с дворянской средой, к которой он принадлежал по рождению и воспитанию.

Один из любимых учеников Яснополянской школы, устроенной Толстым для крестьянских детей, В. С. Морозов, свидетельствует, что уже в самом начале 60-х годов писатель хотел «бросить свое хозяйство, барскую жизнь, перейти на крестьянство, выстроить хату себе на краю деревни... работать, косить, пахать...» И ие только в мечтах Оленина о трудовой казачьей жизни выражены настроения Толстого. В резких обличениях, которые Оленин обращает против дворянского общества, звучит голос самого Толстого.

В станице Старогладковской Толстой очень подружился с немолодым казаком — охотником Епифаном Сехиным, или с дядей Епишкой, как его звали одностаничники. Он послужил прообразом дяди Ерошки в «Казаках». Секретарь и биограф Толстого Н. Н. Гусев указывает: «Дядя Ерошка в «Казаках» (я спросил об этом Льва Николаевича) — точный снимок с действительного лица — дяди Епишки, умершего лет сорок тому назад».

В отличие от дяди Ерошки, образ которого был «снимком» с живого лица; другие герои повести — красавица Марьяна, ее жених молодой казак Лукашка — собирательные образы. В Марьяне воплотились привлекательные черты гордой, прямодушной, знающей себе цену юной казачки. Безоглядно храбрый, не знающий сомнений и колебаний Лукашка противостоит в повести безвольному, измученному раздумьями Дмитрию Оленину.

Из противопоставления не знающего покоя и счастья Оленина и «детей природы», какими показаны в повести дядя Ерошка, Марьяна и Лукашка, недоброжелательная к Толстому критика сделала вывод, что писатель ставит культурного человека ниже «дикарей», поэтизируя их «пьянство, разбой, воровство, жажду крови». Этот нелепый отзыв о толстовской повести принадлежал Евгении Тур — автору большого числа романов из великосветской жизни.

Совсем иначе оценили это произведение И. С. Тургенев, А. А. Фет и другие подлинные мастера художественной литературы. «На днях перечел я роман Л. Н. Толстого «Казаки»,— писал Тургенев,— и опять пришел в восторг. Это вещь поистине удивительная и силы чрезмерной».

Младший современник Толстого французский писатель Ромен Роллан называл «Казаки» лучшим из лирических романов Толстого, песней его юности, кавказской гоэмой.

Наш современник американский писатель Эрнест Хемингуэй в книге «Зеленые холмы Африки» говорил о «Казаках»: «Это очень хорошая повесть». Она так его увлекла, что он как бы «сам жил в тогдашней России».

III

Стр. 367

А у л — горский поселок, деревня.
А р б а — повозка, чаще всего двухколесная.

IV

Стр. 368

Л ы ч а (алыча) — дерево из породы сливовых.
Д ж и г и т — наездник, воин.

Стр. 369

Бешмет — род одежды; поверх бешмета мужчины носят черкеску — узкий, длинный кафтан без ворота, затянутый в талии.

V

Стр. 371

Есаул — полковой старшина в казачьем войске.
Кизяк — навоз, высушенный на топливо.
Хорунжий — низший офицерский чин в казачьем войске.

Стр. 372

Каймак — густо сваренные сливки или молоко.

VI

Стр. 375

Урядник — здесь: унтер-офицер в казачьем войске.
Ноговицы — обувь, охватывающая голени.

Стр. 377

Чихирь — красное вино домашнего приготовления.
Замордовать — травить зверя.

VIII

Стр. 381

Карга — хорошо, ладно.

Стр. 383

Карча (коряга) — древесный ствол с сучьями, попавший в реку.
Подсошка — подставка для ружья, употреблявшаяся при стрельбе.

Стр. 384

Натруска — пороховница; из нее подсыпали порох на полку ружья.

IX

Стр. 386

Каюк — челнок, лодка.

Стр. 387

Монета (монет) — металлический рубль.
Байгуш — бедняк, нищий.
Чакалка — шакал.

X

Стр. 389

К а б а р д и н е ц — здесь: порода горских лошадей.

XI

Стр. 394

К у н а к — приятель, гость.

XII

Стр. 396

Л и в е р — насос для откачки жидкостей из бочки.

XIV

Стр. 404

Г я у р ы — в Турции того времени так называли иноверцев, чаще всего христиан.

XV

Стр. 406

К у р п е й — овечья шкурка; верх на шапке.

XVI

Стр. 408

Ч а м б а р ы — штаны.

Стр. 409

П е ш к е ш — подарок.

XVIII

Стр. 416

Р о д и т е л ь с к о е — виноградное вино.

Стр. 417

К а л ы м — обычай брать за невесту выкуп с семьи жениха.

XIX

Стр. 420

К у п е р о в П а т ф а й н д е р — речь идет о романе «Следопыт» американского писателя Фенимора Купера (1780—1851).

Р о г а л ь — олень.

XX

Стр. 424

Зарьять — задохнуться, надорваться (о собаке).

XXI

Стр. 426

Коробчить (карабчить) — обманывать, красть.

XXII

Стр. 430

Мюрид — человек, давший обет повиновения религиозному наставнику (мюршиду).

XXVII

Стр. 445

Проезд — ход лошади (между шагом и бегом).

XXVIII

Стр. 447

Свежевать — снимать с убитого зверя шкуру; **свежина** — свежее мясо.

XXIX

Стр. 451

Чапра — свежевыдавленный виноградный сок.

Стр. 452

Лапаз (лабаз) — сарай, навес, помост на столбах или на деревьях.

XLI

Стр. 483

Ана сени — горская брань.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Стр. 488

В 1872 году Толстой выпустил в свет «Азбуку», ставшую первой учебной книгой для нескольких поколений русских детей. Каждая из ее четырех книг содержит басни, сказки, загадки, пословицы, занимательные рассказы.

Толстой заботился о том, чтобы в его «Азбуке» «все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно». Писатель находил, что этим требованиям вполне отвечает «Кавказский пленник», написанный для «Азбуки». Ему так

нравился этот рассказ, что в своем трактате «Что такое искусство?» он отнес его к образцовым произведениям «всемирного», всем доступного искусства.

И в наше время школьники очень любят «Кавказского пленника», называя его рассказом «про Жилина и Костылина».

Вспоминая свои ученические годы, первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин пишет: «В это время попалась мне книга, которая оставила яркий след на всю жизнь. Это был рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник». Очень мне нравился русский офицер Жилин, его упорство и смелость. Такой человек нигде не пропадет. Попав в плен, он бежал да еще помогал бежать Костылину — человеку, слабому духом. Татарка Дина была прелестной. Перечитывая рассказ, я все время сравнивал его героев со знакомыми людьми. Ведь брат мой Валентин тоже бежал из плена. И в нем я находил черты полюбившегося мне Жилина». (Ю. Гагарин. Дорога в космос. М., 1969, с. 19.)

1

Стр. 489

Верхами — здесь: верхом на лошади.

Стр. 491

Пулять — кидать, бросать.
Ногайцы — одна из кавказских народностей.

2

Стр. 491

Сакля — дом из камня и глины.
Бешмет — см. примечания к IV главе повести «Казаки».

Стр. 492

Галунчиком — красивой тесьмой.
Сафьянный — из тонкой дорогой кожи.
На притолку (притолоку) — верхнюю часть дверной рамы.
Монисто — бусы.

Стр. 493

Горница — комната.

3

Стр. 496

Снасть — здесь: набор инструментов.

Стр. 497

Чалма — длинный кусок материи, обмотанный вокруг головы.
Шепталы (шептала) — южные плодовые деревья.
В Мекку.— В Аравии Мекка считалась священным городом.

4

Стр. 498

На полдни — здесь: на южной стороне.

Стр. 499

Мулла — мусульманский священник.
Под лытки — под колени.

5

Стр. 501

Высожары (висожары) — группа звезд.

Стр. 502

Рассолодел — ослабел.

Стр. 503

Колода — здесь: неповоротливый, грузный человек.

6

Стр. 506

Передню́ю — проведу день, пережду.

ХОЛСТОМЕР

Стр. 508

В середине 50-х годов Толстой услышал от своего знакомого литератора А. А. Стаховича историю одного знаменитого рысака. Тогда же Толстой пометил в дневнике: «Хочется писать историю лошади».

Это намерение он попытался осуществить лишь через пять лет, набросав в 1861—1863 годах первую редакцию повести о Холстомере. Работа над повестью, однако, приостановилась: все помыслы писателя тогда занял роман «Война и мир».

И только в 1885 году Толстой вернулся к давно начатому произведению, подвергнув его коренной переработке. В новой редакции повести писатель значительно усилил обличение хозяев, безжалостно мучавших и в конце концов погубивших Холстомера. Здесь резко подчеркнуто его «мужицкое» происхождение. «Да, я сын Любезного 1-го и Бабы»,— рассказывает Холстомер о себе молодому табуну «Имя мое по родословной Мужик 1-й... По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови».

В словах и мыслях Холстомера о его хозяевах воплощены «мужицкая» неприязнь к ним и наивное, свойственное патриархальному крестьянскому сознанию непонимание настоящих причин того, почему в том мире, где живет Холстомер, одни обречены на «труд и унижение», а другие ведут праздную, безбедную жизнь.

«Холстомер» впервые был напечатан в 1885 году, в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого.

ГЛАВА I

Стр. 508

Казакин — мужская верхняя одежда, застегивающаяся на крючки.
Караковая — лошадь темно-гнедой масти, почти вороная.

Стр. 509

Варок — конский двор.
Потник — войлок, подкладываемый под седло.
Трок — широкий ремень (тесьма) для укрепления седла.
Верея — воротный столб
Стригун — жеребенок с подстриженной гривой.

ГЛАВА II

Стр 511

Фамильярность — непринужденность в обращении, граничащая с развязностью.
Храп — здесь: рот и ноздри лошади.
Круп — здесь: часть туловища лошади от спины до хвоста.

Стр. 512

Салазки — здесь: челюсть, скулы.
Холка — часть шеи, соединяющаяся с хребтом.
Мослаки — большие кости (преимущественно бедренные).

ГЛАВА V

Стр. 518

Денник — стойло для одной лошади.
Комяга — здесь: «долбушка вместо яслей для корма скота... также для водопоя». (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, 1881, с. 149.)

ГЛАВА VIII

Стр. 526

Никола Явленный — церковь в Москве на старом Арбате.
Плисовый — см. примечания к IX главе повести «Поликушка».
Поддёвка — полукафтан или безрукавный кафтанчик, надевавшийся под кафтан — верхнюю мужскую одежду из сукна.

Стр. 527

Кивер — см. примечания к рассказу «Севастополь в августе 1855 года».
Медные задники калош — генеральские калоши имели разрез для шпор, окованный медью.

Стр. 528

Стожинка (Остоженка) — улица в Москве, ныне Метростроевская.

ГЛАВА X

Стр. 531

Левретка — порода комнатных собачек.

Аглицкий — английский.

Сангвиник (от лат. «сангис» — «кровь») — человек очень подвижный, эмоциональный, энергичный.

Яма — название долговой тюрьмы.

Стр. 533

Наездник сбил четыре сбоя — когда на бегах рысак внезапно переходил с рыси на галоп,— это считалось нарушением правил.

ГЛАВА XII

Стр. 536

Драч (живодер) — коновал, убивающий животное и сдирающий с него шкуру.

Стр. 537

Полено — здесь: волчий хвост.

ХАДЖИ-МУРАТ

Стр. 539

Повесть о Хаджи-Мурате Толстой начал писать в середине 90-х годов и продолжал над нею работать до 1904 года, так и не отдав ее в печать. «Хаджи-Мурат» впервые увидел свет лишь в 1912 году, после кончины писателя.

В начале повести Толстой указал на три основные ее источника: «...Мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе».

События, описанные в «Хаджи-Мурате», произошли в начале 50-х годов прошлого века, во время войны за присоединение Кавказа к России. Зимой 1851 года Толстой писал из Тифлиса своему брату о переходе Хаджи-Мурата к русским и о толках, вызванных этим событием.

Толстой, помимо личных воспоминаний и рассказов очевидцев, тщательно изучил печатные и письменные материалы о Кавказской войне.

Часть «кавказской истории» писатель «вообразил себе». И вот какой случай послужил толчком для того, чтобы «заработало» его творческое воображение: «Вчера иду по передвоенному черноземному пару,— записал Толстой в дневнике 19 июля 1896 года.— Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли,

но все еще жив и в серединке краснеется.— *Напомнил Хаджи-Мурата.* Хочется написать. *Отстаивает жизнь до последнего,* и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее» (курсив мой.— *К. Л.*).

Создав в 1902 году десять редакций «Хаджи-Мурата», Толстой все еще оставался недовольным повестью и продолжал над нею работать.

При первом издании «Хаджи-Мурата» цензура сократила наполовину 15-ю главу (о Николае I), а в главе 17-й оставила одну первую фразу. Лишь после Октября эта повесть Толстого была напечатана полностью.

I

Стр. 541

Муэдзин — служитель мусульманского храма (мечети), выкрикивающий с минарета (башни мечети) призывы к молитве.

Наиб — начальник области.

Стр. 544

Хозыри — кармашки для ружейных патронов, нашитые на черкеске по обеим сторонам груди.

Кумган — высокий медный кувшин с узким горлом.

Стр. 545

Кунацкая — комната для гостей.

II

Стр. 546

Прокурат — проказник, плут, веселый шут.

III

Стр. 550

Ломберный — раскладной, обтянутый сукном стол для карточной игры.

Кандидат — здесь: окончивший университет.

Кринолин — парадное платье с широкой юбкой, внутри которой пришиты тонкие металлические обручи

Стр. 551

Камердинер — слуга. лакей

Роббер — в некоторых карточных играх законченный круг игры.

Стр. 552

Каптенармус — в старой армии заведующий имуществом и продовольствием в роте или полку.

Клико — сорт вина (шампанского).

IV

Стр. 555

А в а р е ц — житель Аварии, в середине XIX века одного из ханств в Горном Дагестане.

Стр. 556

С т о ж а р ы — группа звезд в созвездии Тельца (Плеяды).

Стр. 557

П е р е м е т н ы е с у м ы — два связанных мешка, перекидываемые через седло.

V

Стр. 557

С у б а л т е р н - о ф и ц е р — младший офицер в роте.

П а ж е с к и й к о р п у с — военное учебное заведение для детей из знатных дворянских семей.

Стр. 560

З а в о д н а я л о ш а д ь — запасная верховая лошадь, нагруженная вьюками.

Стр. 561

С а р д а р ь — наместник, начальник.

VI

Стр. 564

Б р е г е т — карманные часы с боем.

VII

Стр. 566

П а р о к с и з м — сильный болезненный приступ, припадок.

VIII

Стр. 568

Г у м н о́ — расчищенный участок земли, на котором складывали скирды хлеба; иногда огороженный, с навесом.

Т о к — место, где обмолачивали хлеб.

В о л о т ь — верхняя часть снопа.

Стр. 569

С в я с л о — соломенный жгут для связки снопа.

Стр. 570

Веретье — см. примечания к главе VI повести «Поликушка».

IX

Стр. 571

Метрдотель — главный официант, ведающий кухней и обслуживанием гостей за столом.

Стр. 572

Гергебиль — укрепленный аул в Северном Дагестане.

Даргинский поход. Дарго — укрепленный аул в Северном Дагестане, был главной военной базой войск Шамиля.

Стр. 574

Мюрат — французский маршал, начальник кавалерии в армии Наполеона.

X

Стр. 575

Откуп — право на взыскание с населения доходов, продававшееся царским правительством богатым чиновникам или купцам.

Стр. 576

Кумыцкий князь — князь, владевший одной из областей Дагестана — Каза-Кумыхским княжеством.

Жалузи (жалюзи) — решетчатые ставни для защиты от солнечных лучей

Стр. 577

Лезгинская линия. Лезгины — горская народность, живущая в южной части Дагестана.

Стр. 578

Фаэтон — легкая коляска с открытым верхом.

XI

Стр. 579

Хунзах — центр Аварского ханства.

Стр. 580

Хазават — название «священной войны» против «неверных», один из реакционнейших лозунгов воинствующего мусульманства.

Шейх — духовный наставник у мусульман.

Аманат — заложник.

Стр 581

Им а́ м — мусульманский властитель, соединявший в своем лице высшую духовную и светскую власть.

XII

Стр. 584

Н у к е р — телохранитель.

XIII

Стр. 588

Г и м р и н ц ы — горцы из аварского аула Гимри (Гумри) — родины Шамиля.

XV

Стр. 592

Ф е л ь д ъ е г е р ь — военный курьер, доставлявший важные, преимущественно секретные бумаги.

Ч е р н ы ш е в З. Г. (1796—1862) — за «недонесение» о декабристах был осужден на каторгу. После каторги служил рядовым в кавказской армии.

Стр. 593

К а м е р - л а к е й — придворный лакей.

Т о в а р и щ м и н и с т р а — должность помощника, заместителя министра в царской администрации.

Стр. 594

Б ю р о — конторка, высокий наклонный стол для письменных занятий и хранения бумаг.

Стр. 596

Ш у р и н — брат жены. Имеется в виду прусский король Фридрих Вильгельм IV, на сестре которого был женат император Николай I.

Стр. 598

Е р м о л о в А. П. (1772—1861) — генерал; в 1817—1829 гг. был начальником русских войск на Кавказе. В е л ь я м и н о в А. А. (1785—1838) — генерал, сподвижник и преемник Ермолова.

Стр. 601

П о м п е й с к и й з а л — зал, украшенный по образцам древнеримского города Помпеи.

Стр. 602

Меттерних (Виннебург Клеменс Венцель Лотар ; 1773—1859) — австрийский князь, государственный деятель и дипломат.

Кордонная линия — цепь отрядов, расположенных в приграничной полосе.

XVI

Стр. 604

Курпей — см. примечание к XV главе повести «Казаки».

Арьергард — отряд, охраняющий тылы войска.

Стр. 605

Загибать угол (карты), понтировать (делать ставку) — термины карточной игры.

XVII

Стр. 606

Муталимы — воспитанники духовной школы.

XVIII

Стр. 607

Игреневый — рыжий, с гривой и хвостом светлее туловища.

Карабахская — порода лошадей, выведенная в Горном Карабахе.

XIX

Стр. 611

Чепрак — подстилка под седло.

Сера́ль — здесь: дворец.

Стр. 612

Кистинцы — небольшая кавказская народность.

Намаз — мусульманская молитва.

Тарикат — религиозное мусульманское учение.

Стр. 613

Шариат — гражданское законодательство, основанное на Коране и других мусульманских религиозных книгах.

XX

Стр. 617

Адат — обычай, неписаный закон.

XXI

Стр. 619

Милиционеры — здесь: горцы, сражавшиеся на стороне русских.

Стр. 621

Завалы — заслоны из сваленных деревьев.

XXII

Стр. 624

Золотой — золотая монета достоинством в пять или десять рублей.

XXIV

Стр. 630

Тулумбас — ударный инструмент вроде литавр в военном оркестре.

XXV

Стр. 633

Старообрядцы — раскольники, выступавшие против официальной церкви.

Стр. 637

Натруска и подсошки — см. примечания к VIII главе повести «Казаки».

ПОСЛЕ БАЛА

Стр. 640

В основе рассказа «После бала» лежит действительное событие, о котором Толстой узнал, когда студентом жил вместе с братьями в Казани. Его брат Сергей Николаевич полюбил дочь местного воинского начальника А. П. Корейши и собирался на ней жениться. Но после того как Сергей Николаевич увидел экзекуцию, которой командовал отец любимой девушки, он пережил сильное нравственное потрясение. Он перестал бывать в доме Корейши и отказался от мысли о женитьбе.

Л. Н. Толстой хорошо знал невесту брата и ее жестокого отца.

В середине 80-х годов, описывая эпоху Николая I, он вспоминал о знакомом полковом командире, который «накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на балу и уехал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата-татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью». Нет сомнения, что речь здесь идет о казанском воинском начальнике А. П. Корейше.

Эпизод этот так прочно жил в памяти Толстого, что он много лет спустя описал его в рассказе «После бала». Интересно отметить, что рассказ

сначала назывался «Дочь и отец», потом — «А вы говорите» и, наконец,— «После бала».

Впервые этот рассказ, написанный в 1903 году, был опубликован в 1911 году, уже после смерти писателя.

Стр. 641

Иноходец — верховая лошадь, обладающая особой побежкой — иноходью.

Дагерротипный — фотографический (по старому названию фотографии).

Губернский предводитель — выборный представитель дворянства.

Камергер — придворное почетное звание.

Пюсовое платье — модное в ту пору платье темно-коричневого цвета.

Фероньерка — повязка на лоб с драгоценным камнем посередине.

Стр. 642

Добрый сын Ноя...— По библейскому сказанию, сын патриарха Ноя Хам смеялся над ним, когда он, опьянев, заснул нагим. Старшие братья Хама, Сим и Яфет, почитавшие отца, прикрыли его наготу.

Стр. 644

Портупея — плечевые ремни для ношения холодного оружия.

Стр. 645

Кандидатский экзамен — экзамен на ученую степень кандидата наук.

Стр. 647

Шпицрутен — длинный, гибкий прут или палка, употреблявшиеся для телесных наказаний.

СОДЕРЖАНИЕ

К. Ломунов. Толстой — это целый мир . 3

ДЕТСТВО 21
ОТРОЧЕСТВО 105
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ 171
Севастополь в декабре месяце . . . . . —
Севастополь в мае 184
Севастополь в августе 1855 года 221
МЕТЕЛЬ 274
ТРИ СМЕРТИ 299
ПОЛИКУШКА 310
КАЗАКИ. *Кавказская повесть 1852 года* 357
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК 488
ХОЛСТОМЕР. *История лошади* 508
ХАДЖИ-МУРАТ 539
ПОСЛЕ БАЛА 640

КОММЕНТАРИИ 649

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 11)

Лев Николаевич Толстой

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ИБ № 2073

*

Ответственный редактор
Г. И. Гусева

Художественный редактор
В. А. Горячева

Технический редактор
В. К. Егорова

Корректоры
Е. Б. Кайрукштис
и Н. А. Сафронова

*

Сдано в набор 29/VII 1977 г. Подписано к печати 16/V 1978 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 44,13. Уч.-изд. л. 42,53+ +9 вкл.=43,11. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ № 849. Цена 1 р. 90 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Толстой Л. Н.

Т53 Повести и рассказы/ Сост., предисл. и комм. К. Н. Ломунова; Ил. А. Иткина.— М.: Дет. лит., 1978.—686 с., 9 л. ил. (Б-ка мировой литературы для детей, т. 11).

В пер.: 1 р. 90 к.

В книгу входят повести и рассказы: «Детство», «Отрочество», «Севастопольские рассказы», «Метель», «Три смерти», «Поликушка», «Казаки», «Кавказский пленник», «Холстомер», «Хаджи-Мурат», «После бала».

Т $\frac{70803—321}{М101(03)78}$ Подп. изд. Р1

Scan Kreyder - 23.05.2016
STERLITAMAK

1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»